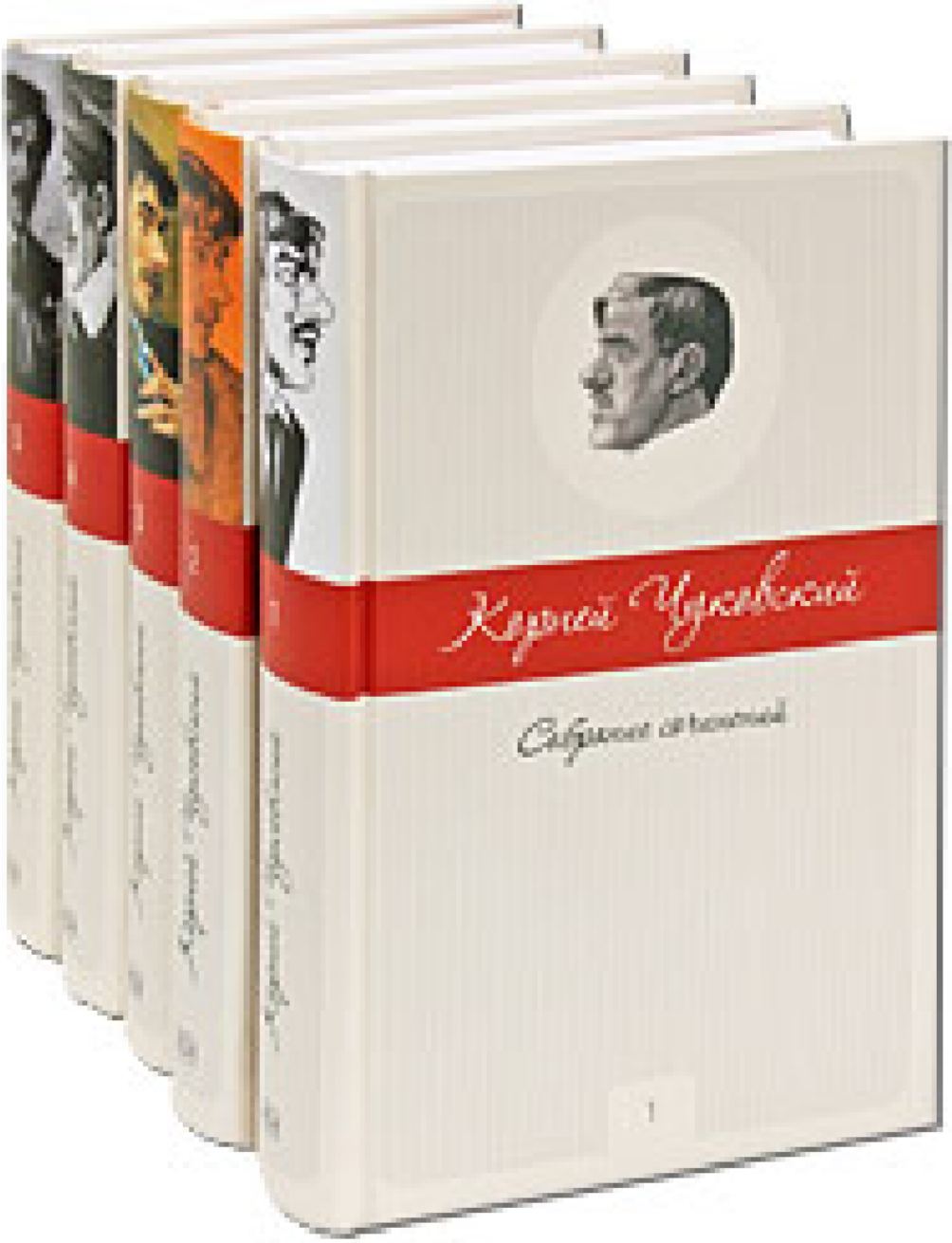
Корней Чуковский
Собрание сочинений

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«- Нет, как хотите, а я не верю в биографию Максима Горького.

- Сын мастерового? Босяк? Исходил Россию пешком? Не верю.»

Корней Чуковский, 1907

* * *

Писать о Горьком Чуковский собирался давно. Еще до революции он прочитал несколько лекций о Горьком, в послереволюционное время вновь вернулся к творчеству писателя, который стал стремительно бронзоветь. В 1919 году он вновь читал о Горьком (на вечере, организованном «Всемирной литературой»), и мысли, высказанные тогда, впоследствии включил в книгу. Оформив ее окончательно, он вновь пытался прочитать лекцию о Горьком: представлять новую работу в виде лекции и книги было для него обычной практикой. Однако теперь ничего не получилось. Он дважды пытался выступить, но дважды выступление запрещали – в феврале и в мае 1924 года. «Максим Горький как тема не подлежит в эти дни публичному обсуждению с какой бы то ни было точки зрения», – записывал Чуковский в дневнике. Горький стремительно отдалялся от единомышленников, отходил от руководства своими начинаниями, превращался в советскую икону. «Две души Максима Горького» все-таки увидели свет, однако были встречены гробовым молчанием критики.

http://kivch.ru/

- Корней Чуковский
  - ПЕРВАЯ
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
  - ВТОРАЯ
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI

        - VII
        - VIII
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22

Корней Чуковский
ДВЕ ДУШИ М. ГОРЬКОГО

ПЕРВАЯ

I

Неужели молодость Горького и вправду была так мучительна? Когда читаешь его книгу «Детство», кажется, что читаешь о каторге: столько там драк, зуботычин, убийств. Воры и убийцы окружали его колыбель, и, право, не их вина, если он не пошел их путем. Они усердно посвящали ребенка во все тайны своего ремесла — хулиганства, озорства, членовредительства. Упрекнуть их в нерадении нельзя: курс был систематический и полный, метод обучения — наглядный. Мальчику показывали изо дня в день развороченные черепа и раздробленные скулы. Ему показывали, как в голову женщины вбивать острые железные шпильки, как напяливать на палец слепому докрасна накаленный наперсток; как калечить дубиной родную мать; как швырять в родного отца кирпичами, изрыгая на него идиотски-гнусную ругань. Его рачительно готовили в каторгу, как других готовят в университет, и то, что он туда не попал, есть величайший парадокс педагогики.

Старинные семейные традиции требовали от него этой карьеры. Среди самых близких своих родных он мог бы с гордостью назвать нескольких профессоров поножовщины, поджигателей, громил и убийц. Оба его дяди по матери, — дядя Яша и дядя Миша, — оба до смерти заколотили своих жен, один одну, а другой двух, столкнули жену его в прорубь, убили его друга Цыганка — и убили не топором, а крестом!

Крест, как орудие убийства, — с этой Голгофой познакомился Горький, когда ему еще не было восьми лет. В десять он и сам уже знал, что такое схватить в ярости нож и кинуться с ножом на человека. Он видел, как его родную мать била в грудь сапогом подлая, длинная мужская нога. Свою бабушку он видел окровавленной, ее били от обедни до вечера, сломали ей руку, проломили ей голову, а оба его деда так свирепо истязали людей, что одного из них сослали в Сибирь.

Кто из русских знаменитых писателей мог бы сказать о себе: «я был вором»? А Горький еще в детстве снискивал себе воровством пропитание. «Мы выработали себе ряд приемов, успешно облегчавших нам это дело», — вспоминает он о себе и товарищах.

Из его товарищей только один чуждался этой профессии, а дядя Петр обкрадывал церкви, Цыганок похищал на базаре

провизию, Вязь, Кострома и Вяхирь воровали жерди и тёс. Горький сделал своей специальностью похищение церковных просфор.

Позже, когда подростком он служил в башмачном магазине, ему внушали елейно и вкрадчиво:

— Ты бы, человече божий, украл мне калошки, а? Украдь, а?

А когда он поступил в иконописную мастерскую, он украл икону и псалтырь[1].

До сих пор мы думали, что мещанская жизнь — это беспросветная скука и только: блохи, пироги с морковью, икота, угар; но оказывается, эта жизнь (по Горькому) есть кипение лютых страстей, кровавые трагедии, сплошная война. Как о самом обычном, он мимоходом повествует о том, что один из его соседей каждый день садился у окна и палил из ружья в прохожих. А когда Горький вырос, какой-то охотник всадил ему в правую сторону тела двадцать семь штук бекасиной дроби — здорово живешь, ни с того, ни с сего! Вся его книга полна дикими воплями: «Расшибу об печку!», «Убью-у!», «Еще бы камнем по гнилой-то башке!»

Нет, не похоже «Детство» Горького на «Детство» Толстого! Когда-нибудь для школьных сочинений будет предлагаться в школах тема: сравнительный разбор обоих «Детств» и гимназисты победоносно докажут, что усадебное детство было лучше чумазого. Ведь мимо малолетнего Толстого не возили людей в цепях казнить на ближайшей площади, ведь Толстого не засекали до потери сознания, ведь дом, где жил восьмилетний Толстой, не соседствовал с домом терпимости. Потому Толстой и воскликнул:

— «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней!»

А мученик чумазой педагогики уже не повторит этих слов. «Точно кожу содрали мне с сердца» — таково было его детское чувство. Ошпаривали сердце кипятком.

Эта злая война всех со всеми не погубила Горького, но закалила его. Благодаря ей он сделался бойцом. И, когда я читаю в его автобиографической книжке, как он намазал своему ненавистному вотчиму сиденье стула клеем; как в шапку ненавистному дяде Петру он насыпал едкого перцу, чтобы тот чихал целый час; как, мстя за оскорбление бабушки, он выкрал у деда святцы и, разрезав их на мелкие клочки, остриг у святителей головы, хоть и знал, что за это будет жестокая казнь, — когда я читаю о таких маленьких бунтиках маленького Горького, я чувствую, что это — пророчество о будущем неукротимом забияке:

Ты, жизнь, назначенная к бою!
Ты, сердце, жаждущее бурь!

Попробуйте четырехлетнего Горького запереть в каюте на ключ. Он схватит бутылку с молоком и ударит бутылкой по двери! Стеклом по железу! Ничего, что бутылка вдребезги, а молоко натечет в сапоги.

Строптивость была его главной чертой. Какая-то старуха сказала ему за обедом: «Ах, Алешенька, зачем ты так торопишься кушать, — и такие большие куски!» Он вынул кусок изо рта, снова надел его на вилку и протянул ей: «Возьмите, коли жалко!»

А учителю в школе сказал: «Ты, брат, не кричи, я тебя не боюсь!»

В «Детстве» о таких подвигах повествуется часто: чуть, например, маленький Горький увидел, что пятеро здоровенных мещан навалились на одного мужика и рвут его, как собаки собаку, он тотчас же с целой тучей булыжников бросился выручать избиваемого. А когда за какие-то провинности мать отхлестала его, он предупредил ее спокойно и твердо, что, если это повторится, он укусит ей руку, убежит в оледенелое поле и там замерзнет, — умрет, а не сдастся.

Вот еще когда проявилась в ребенке та романтика бури и бунта, та горьковщина, которая впоследствии, в предреволюционную пору, создала в нашей литературе эпоху.

Горький — чуть не с колыбели буян, и в «Детстве» приводится обширный каталог его буйств: то он сломает дедову деревянную ложку, то запрет в погребе бабу-обидчицу, то швырнет в огромного мужика кирпичом:

О, счастье битвы!
Безумство храбрых —
Вот мудрость жизни!

Еще бегая босиком по Канатной, Горький понял, что в битве — счастье. Недаром его мальчиком так тянуло в солдаты. Ему и теперь, на старости, весело вспоминать свои детские битвы:

«Мальчишки из оврага начинали метать в меня камнями. Я с *удовольствием* отвечал им тем же»...

«Было приятно отбиваться одному против многих»...

«Драка была любимым и единственным *наслаждением*

моим»...

Так маленькими уличными драками подготовлялся этот великий драчун. Розгами, кулаками и камнями создавали из него буревестника.

И замечательно, что большинство его драк были рыцарские. Почти все — в защиту человека. Редко-редко — ни с того, ни с сего — мальчик плюнет человеку на лысину, а чаще — он защитник обиженных. Его девиз — противление злу. За всякую обиду — себе ли, другим ли — он в «Детстве» отвечает обидой, не желая ни прощать, ни примиряться.

II

Хотя в «Детстве» изображается столько убийств и мерзостей, это, в сущности, веселая книга. Меньше всего Горький хнычет и жалуется. Несмотря на всю свою скучно-жестокую жизнь, люди для него забавны, занятны, живописны, любопытны, причудливы, и на каждой странице «Детства» слышатся веселые слова:

— Прощается вам, людишки, земная тварь, все прощается, живите бойко! Превосходная должность быть на земле человеком! Милые вы, черти лиловые!

И написано «Детство» весело, веселыми красками. Все в этой книге ладно, складно, удачливо, ловко, звонко. Каждая буква — нарядная, каждая страница — с изюминкой. Ни одного вялого или мертвого слова. Никогда еще Горький не писал так легко и свободно. Наконец-то он создал нечто достойное его огромных поэтических сил. И, хотя в собрании его сочинений «Детство» уже двадцатая книга, но для любящих искусство — она — первая. Предыдущие девятнадцать томов — лишь ступени сюда, в эту книгу. В России еще не было воспоминаний, которые были бы написаны так виртуозно; каждая глава есть отдельный рассказ, совершенно законченный, каждый эпизод драматизирован, доведен до высшей эффектности, — хоть сейчас в кинематограф, на экран! Весело бегут друг за дружкой шустрые, хорошенькие главки, кувыркаясь и играя в чехарду. И какая энергическая живопись: целую кучу людишек Горький лепит, точно забавляясь; четыре мазка — и готово, кисть так сама и гуляет по пестрому его полотну, а он еле поспевает за нею и с веселым удивлением следит, какая забавная выходит у него панорама. Вот настоящее слово: панорама. Горький с недавнего времени стал панорамистом-декоратором — с той поры, как написал он «Исповедь». И в «Исповеди», и в «Городке Окурове», и в «Кожемякине» — всюду пестрота и широта панорамы, множество весело-написанных лиц, темпераментный размах композиции,

самые яркие краски; но нигде не чувствовалось такой уверенной, непринужденной и веселящейся кисти, как в «Детстве». В «Детстве» на каждой странице заметно, что радует мастера его мастерство. Эта радость мастера передается и нам.

Замечательно, как на старости лет Горького потянуло к краскам. В первых своих книгах он — певец и (чаще всего!) оратор, а в своих последних — живописец. Глаз его стал ненасытнее, зорче и увидел в мире столько изумительных красок, какие и не снились тому, кто декламировал «Песню о Соколе».

Но откуда эта радостная живопись? Можно ли радоваться, рассказывая, как обижают и калечат людей? Сам Горький объясняет свою радость надеждами на лучшее будущее. В повести «Детство» он пишет:

«Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

В последнее время эта надежда на «возрождение наше к жизни светлой и человеческой» все чаще сказывается в произведениях Горького. Пусть пылинка к пылинке, но строится волшебное царство счастливых. А это для Горького главное: чтобы люди стали счастливы, чтобы женщин не били ногами в живот, чтобы не швыряли в отцов кирпичами, чтобы не истязали детей. В «Детстве» он спросил у своей бабушки:

— Маленьких всегда бьют?

И бабушка спокойно ответила:

— Всегда.

Она даже и представить себе не могла, что есть такие маленькие, которых не бьют. А Горький только о том и мечтает, чтобы поскорее кончилась эта звериная жизнь и началась человеческая. И звериная непременно кончится, кончатся все эти «свинцовые мерзости», потому что, как пишет он в «Детстве», «русский человек настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их».

Прежде, мечтая о счастье людей, Горький славил анархический бунт, но теперь, после того, как он развенчал Челкаша, он верит уже не в бунтаря, но в работника. Доработается человечество — до счастья. В человечестве он видит артель строителей счастливого планетарного будущего[2]. И так как всякую свою веру он любит выражать афоризмами, то теперь его книга полна афоризмов, которые славят работу:

— Всякая работа — молитва Будущему.

— Рабочий народ земли единственный источник

боготворчества.

— Люди умирают, а дела их остаются.

— Деяние — начало всех начал.

— Работа всегда дороже денег.

— Человек — работник всему миру.

Работой спасется мир. Что бы ты ни создавал для себя, ты создаешь для меня и для всех. Здесь круговая порука всемирного, хорового труда. Работая, ты обогащаешь вселенную.

В своей знаменитой статье «Две Души» Горький клеймит восточную, азиатскую душу за то, что восточной душе неведом пафос деяния, чуждо счастье строительства и творчества, и какие он расточает хвалы западной европейской душе за то, что она — душа-хлопотунья, душа-созидательница! И всюду, даже в «Итальянские Сказки», вкраплены у него гимны труду:

«Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам, да!» — похваляется итальянский рабочий в его сказке «Тоннель». Этому рабочему выпало на долю великое счастье: он рыл вместе с другими Симплонский тоннель, он победил своей работой непобедимую гору, и воспоминание об этой работе наполняет его радостью и гордостью:

«Когда, наконец, рушился пласт породы и в отверстии засверкал красный огонь факела и чье-то черное, облитое слезами радости и потом лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости — ой, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую: нет, я не даром жил!.. И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как хороша сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю — в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину... Конечно, я пошел к отцу, о, да! Я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, как он желал этого:

— Отец, — сделано! — сказал я. — Люди — победили. Сделано, отец!»

Самому участвовать в этой работе — для Горького незабываемая радость. Как о светлом празднике духа вспоминает он о той трудной и мучительной ночи, когда волжские грузчики, и он в том числе, разгружали под Казанью затонувшую баржу.

«Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, носиться с тюками на спине. Работали, играя, с весенним увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятия женщины... Я жил в эту ночь в радости, не испытанной мною. Душу озаряло желание

прожить всю жизнь в этом полубезумном восторге делания... Обнимать и целовать хотелось этих двуногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею»[3].

Горький первый из русских писателей так религиозно уверовал в труд. Только поэт-цеховой, сын мастерового и внук бурлака мог внести в наши русские книги такую небывалую тему. До него лишь поэзия неделания была в наших книгах и Душах. Он, единственный художник в России, раньше всех обрадовался при мысли о том, что человечество многомиллионной артелью устраивает для себя свою планету, перестраивает свое пекло в рай.

> Работая, мы строим хрустальный дворец для потомства,
> где не будет ни воздыханий, ни слез, —
> Ни бескрестных могил, ни рабов.

Весь пафос поэзии Горького — в заботе о таком счастливом будущем. Горький не богоискатель, не правдоискатель, он только искатель счастья: счастье для него дороже правды, святее Бога, — и если Бог не даст человечеству счастья, Горький забракует такого никчемного Бога. И если правда не даст человечеству счастья, то да здравствует ложь! Когда лукавый Лука в его пьесе «На дне» самым беспардонным враньем осчастливил на минуту людей, Горький дал ему свое благословение: чем хочешь, только осчастливь и обрадуй!

Недавно этот лукавый Лука снова появился у него на страницах в рассказе «Утешеньишко людишкам» и снова, из жалости к людям, мошеннически обморочил их, чтобы дать им если не счастье, то хоть передышку в несчастьях: выдал им какого-то дурачка за праведника и богоносного пророка, потому что, — как поясняет он сам, — «это все-таки утешеньишко людишкам, иной раз жалко их; очень маятно живут, очень горько. А то жили-были стервы-подлецы, а нажили праведника».

III

Когда Горькому было лет двадцать, он сочинил поэму в прозе и стихах «Песнь старого дуба».

Эта «Песнь», по нынешнему ощущению Горького, была в достаточной мере плохая, но тогда он был убежден, что, стоит людям прочитать ее, и они тотчас же построят свою жизнь по-новому:

«Я был убежден, — пишет он, — что грамотное человечество,

прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь, — кроме и больше этого я ничего не желал»[4].

С той поры прошло лет тридцать или больше, но Горький и теперь не изменился. Каждое его произведение только затем и написано, чтобы преобразовать человечество. Горький, когда пишет, твердо верит, что, стоит людям прочитать «Кожемякина» или «Супругов Орловых», — и взыграет честная, чистая, веселая жизнь. Кроме и больше этого он ничего не желает.

Жалко людей; люди живут плохо; надо, чтобы они жили лучше, — таков единственный незамысловатый мотив всех рассказов, романов, стихотворений и пьес Горького, повторяющийся чем дальше, тем чаще.

Прежде Горький был писатель безжалостный. Но перед революцией он стал проповедовать жалость. В его последних книгах слово жалко на каждом шагу, так что даже странно читать. Вопреки правдоподобию, словно сговорившись заранее, все новые персонажи Горького один за другим упорно повторяют слово жалко, и Горький не дает им уйти со страницы, покуда они этого слова не скажут. В конце концов эти однообразные демонстрации жалости кажутся весьма нарочитыми; но замечательна та упрямая настойчивость, с которой Горький демонстрирует жалость. Во время войны он напечатал продолжение «Детства», автобиографическую повесть «В людях», и там чуть не в каждой главе говорится об этой жалости.

Вот Пашка Одинцов, богомаз, круглоголовый подросток, лежит на полу и плачет:

— Ты что?

— Жалко мне всех до смерти... До чего же мне жалко всех, господи! («В людях», гл. XIV).

Вот бабушка Горького — бродит с ним по лесу и говорит слово в слово:

— Как подумаешь про людей-то, так станет жалко всех (гл. VI).

Вот Смурый, повар, сидит на корме парохода и говорит слово в слово:

— Жалко мне тебя... и всех жалко... (гл. V).

И Татьяна в рассказе «Женщина» тоже говорит слово в слово:

— Господи, жалко всех, всю-то жизнь наскрозь, всех людей!

И горбатый Юдин в очерке Горького «Книга»:

— Как жалко всех!.. Как жалко людей!

И Павел в романе «Мать»:

— Жалко всех.

И в романе «Исповедь» — Матвей:

— Жалко мне стало всех.

— Мне народ жалко, бесчисленно много пропадает его зря! — говорит Силантьев в рассказе «В ущелье».

И прекрасная Леска в очерке «Сторож» твердит:

— Жалко мне тебя... Ой, *всех* жалко мне[5].

Девять человек слово в слово: жалко *всех*. Не то, чтобы им было жалко одного или двух, — нет, им жалко всех, они жалеют *весь мир*. В простонародьи это очень редкое чувство — сострадание к миру, ко всему человечеству; жалость простолюдина конкретна: к тому или к этому страдающему — страдающему сейчас, у него перед глазами. Но герои Горького повторяют один за другим, что им жалко *всех, всю вселенную*. В особые мгновения их жизни их охватывает восторг человеколюбия, когда они словно сораспинаются миру.

Горькому так дороги эти слова: жалко всех, что он не во всякие уста их влагает, а только в избранные, в самые лучшие, в уста своих любимых героев. В этом он видит высшую их красоту, — в том, что они сидят, разговаривают, да вдруг и просияют чрезмерной, невыносимой любовью ко всем. Горький в своей повести «В людях» приписывает и себе такие же внезапные вдохновения жалости ко всему человечеству.

«Я испытывал мучительные приливы жалости к себе и ко всем людям», — говорит он в десятой главе и с большим однообразием многократно указывает, что в юности, бывало, кого ни встретит, того и жалеет, до краев наполняется жалостью. И когда в *первой* главе этой повести он встретил какого-то Сашу, он написал про него:

«Сашины вещи вызвали во мне чувство томительной жалости».

Когда во *второй* главе появился его уличный друг Кострома, он и про того написал:

«Мне стало... жалко Кострому».

Вспомнил мать:

«Мне было жалко ее...»

В *пятой* главе вывел пароходного повара Смурого, и, конечно, не преминул пожалеть и того:

«Все боялись его, а я жалел».

В *шестой* то же самое снова:

«Мне было жалко и его и себя».

В *седьмой* появился какой-то солдат:

«Мне стало жалко солдата»...

В *восьмой* снова появился какой-то солдат:

«Почти до слез жалко солдата и его сестру».

В *девятой* появился какой-то чертежник.

«Мне было жаль его».

В *десятой* — офицер:

«Мне стало жалко офицера».

В *двенадцатой* — мужики:

«Эти угрюмые мужики... — вызвали у меня жалость к ним»...

В *пятнадцатой* — какой-то приказчик:

«Мне стало жаль его».

В *восемнадцатой* — какая-то гулящая женщина:

«У меня от... жалости к ней навернулись слезы»[6].

Горький точно вменяет себе в обязанность возможно чаще произносить слово жалко. В одной из своих предреволюционных статей он сочувственно цитировал письмо какой-то курсистки, которая требовала, чтобы все писатели говорили одно слово «*жалко*». (Горький. Статьи. Пг., 1918, с. 125).

Заметьте, это не ровная жалость, а какой-то внезапный прилив и отлив. Она накатывает на него и отхлынывает. Как и всякое вдохновение, она неожиданна. Еще за минуту до этого был он равнодушен и недобр. Но вдруг (именно вдруг!) пожалел. Все творчество Горького питается этим вдруг, этой внезапной экстатической жалостью. Можно легко доказать, что даже безжалостное свое ницшеанство он взлелеял в себе из жалости. Теперь в его повести «В людях» многие назойливо-часто твердят:

— Людей нужно жалеть!

— Ты и камень сумей пожалеть.

— Людей везде теснота, а пожалеть нет ни одного сукина сына.

Не беда, если это выходит назойливо: Горький не боится надоесть. В каждый данный период его творчества у него имеется одно какое-нибудь любимое слово, которое с большим однообразием он повторяет, как заклинание, множество раз: при всяком случае, из страницы в страницу, из повести в повесть, без конца он вдалбливает в нас одно и то же, то, что считает полезным для нас, а придется ли нам это по вкусу, он заботится меньше всего.

Придирчивым читателям, пожалуй, покажется, что он мог бы и не повторять по инерции столько раз, в одних и тех же выражениях, словно заученный урок, одну и ту же привычную формулу. Но мы чувствуем, что здесь проявилось его драгоценное качество — его упорная воля: подобно другим улучшателям мира, желающим во что бы то ни стало осчастливить людей подобно Фурье или Роберту Оуэну, он, как мы ниже увидим, гениально упрям в пропаганде тех своих чувств и мыслей, которые кажутся

ему единоспасительными, и никогда не упустит возможности демонстрировать их снова и снова...

IV

Горький требует, чтобы мы были жалостливы, так как ему кажется, что в жестоких условиях мучительной русской жизни жалость необходима, как воздух.

Ни один из русских писателей не чувствовал с такой остротой, что русская жизнь мучительна. Может быть, побуждаемый своей порывистой жалостью, Горький только и твердит в своих книгах, что наша жизнь устроена плохо, что нужно ломать эту дурацки-жестокую жизнь и устроить себе новую, помягче. Это чувство и сделало Горького — задолго до революции — революционным писателем, потому что всякая революция есть воплощение этого чувства.

Горького оно не покидало никогда. — «Смотрите, как по-дурацки и жестоко устроена ваша жизнь» — таково содержание всех его книг.

По своей публицистической привычке, Горький повторяет эту фразу почти без изменений во всех своих книгах.

— Отчего люди так нехорошо живут? — спрашивает кто-то в его повести «Мать».

И в другой повести, «Жизнь ненужного человека», даже полицейский сыщик спрашивает:

— Отчего люди так нехорошо живут?

И в третьей его повести «По Руси» читаем:

— Как же люди-то живут?

— Плохо, недостойно себя живут, в безгласии и невежестве, в неисчислимых обидах нищеты и глупости.

Для Горького это единственный факт, заслоняющий все остальные.

— Уж я бы поискал, как жить лучше! — восклицает юноша Горький, мечтая дойти до самой Богородицы и рассказать ей о наших скорбях. В этом его помешательство. «Если Богородица поверит мне, пусть даст такой ум, чтобы я мог все устроить иначе, получше как-нибудь»[7].

«Для лучшего живет человек», — повторяет он со старцем Лукой. Человеческое счастье — для него мерило всех вещей, центр его мироздания. Ему дорого не какое-нибудь запредельно-мистическое, сверхэмпирическое счастье не от мира сего, а житейское, земное и насущное. Он утилитарист-гедонист. Его философия практическая. Ему не до метафизики, когда кричат караул, ему некогда думать о потустороннем и вечном, когда

женщин все еще бьют сапогами в живот, а детей калечат поленьями. Он не спрашивает у полуночных волн:

Скажите мне, что значит человек?

Он знает: человек — это боль, которую нужно утишить. Остальное его не занимает нисколько. Здесь вся его воля, все его мысли. Даже бог необходим ему постольку, поскольку он — исцелитель страданий.

— Где наш справедливый и мудрый бог? Видит ли он изначальную, бесконечную муку людей своих? — спрашивает в повести «Исповедь» богоискатель Матвей, шарящий по всем закоулкам земли, где же скрывается жалеющий бог. С детства его так оглушили человеческие боли и раны, что он чувствует их, как свои: пусть бы бог глядел на несчастных людишек с низенького близенького неба и говорил им, как Горький:

— Люди вы мои, люди! Милые мои люди! Ох, как мне вас жалко!

Кроме жалости к людишкам, Горький ничего и не требует от своего божества: пусть оно жалеет нас, как Горький. А если оно не жалеет, оно ему не нужно совсем. Бог ему интересен не сам по себе, а только по отношению к людишкам.

— Плохо ты, Господи, о бедных заботишься! — упрекают его в повести «В людях».

— Нет его, Бога, для бедных, нет... Когда мы молебны служили, помог он нам? — упрекают его в повести «Исповедь».

«Бог для бедных» — точно врач для бедных. Бог обязан услаждать нас и холить, в этом как бы его должность, а если он ею манкирует, на что же он тогда человечкам? Что это за доктор — не лечащий!

— Вот у меня, — читаем в рассказе «Калинин», — жена и сынишко сожглись живьем в керосине... Это как? Молчать об этом? Ежели бог... то отвечает за все...

В рассказе «Тюрьма» повторяется та же претензия. Горький написал специальный богословский трактат — в форме интереснейшей повести «Исповедь», — где, перебрав, как по пальцам, всевозможные российские религии и отвергнув их одну за другой, объявил в конце концов свою — религию человечества: людишки — вот истинный Бог. Бог — как бы эманация людишек, людишкиных вожделений и мук. Главное — люди, а Бог — производное. Люди — субстанция, а Бог — атрибут.

Религия Горького — земная, безнебесная. Он весь в людском муравейнике, конечном, здешнем, временном. Он ни за что не написал бы, как Фет:

Прямо смотрю я из времени в вечность, — он весь в практике, в физике, он не Мария, но Марфа, и слава богу, что Марфа:

довольно уже с России Марий!

Душа готова, как Мария,
К ногам Христа опять прильнуть,

— такова была у русской поэзии единственная доныне забота: как маги, мы смотрели из времени в вечность, а кругом в коросте, лишаях и чирьях копошились очумелые людишки.

Окрылены неведомым стремленьем, —
Над всем земным,
В каком огне, с каким самозабвеньем
Мы полетим!

— радовался завороженный поэт и, как о высшем блаженстве, как о празднике духа, мечтал об этом полете в нездешнее, а то, что здесь у кого-то жена и сынишка сгорели живьем в керосине, это никак не вмещалось в круг его поэтических тем, это было даже враждебно его волхвованию. Нет, —

... в беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир,

— этим только и жива была русская лирика — только беспредельным и незримым, — пустынница, чуждая дольнему миру, созерцательница горних святынь, воплотившая в высших своих достижениях стихийную волю древнерусской восточной души к отрешению ото всякой земной суеты, от пыли вседневных явлений, скучавшая ими, не верившая в их бытие:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами —
Только отблеск, только тени
От незримого очами?

Людскими бедами эта литература всегда занималась sub specie aeternitatis, ради разрешения глубочайших этических и философских проблем, не столько жаждая изменения нашего внешнего быта, сколько — внутреннего перерождения наших душ. Она всегда лишь о душе и хлопотала, а телу — чем хуже, тем лучше. Исключение составляли только шестидесятые годы, но это именно исключение, изъятье из правил. И замечательно, что шестидесятые годы хотя и дали нам огромных писателей, но не дали ни одного великого, который мог бы по мощности своих вдохновений сравниться с теми «прозревшими вечность».

Горький резко отгородил себя от всех тайновидцев и заявил вызывающе, что ему до царства божия нет дела, а есть дело лишь до царства человеческого; что за чечевичную похлебку материальных, физических благ он с радостью отдаст все бездны и прорывы в нездешнее, которыми так счастливы другие; что накопление физических удобств и приятностей жизни есть венец и предел его грез. И пусть тайновидцам эти грезы не нравятся, пусть они зовут их беспросветно-мещанскими, куцыми, плоскими, недостойными души человеческой, Горькому это не страшно — было бы людишкам облегчение: «жалко их, очень маятно живут, очень горько, в безгласии, в неисчислимых обидах».

И не смейте служить ничему абсолютному, самоцельному и самоценному, — только человечеству, только его удобствам и пользам! Недаром в своей пьесе «Дети Солнца» Горький так наказывает мудрого героя за то, что тот думал о химии, а не о человеческих нуждах:

— Милая твоя голова много думает о великом, но мало о лучшем из великого — о людях.

Для Горького это непрощаемый грех.

Нужно думать о людях, о переустройстве их жизни, а все остальное вздор. Оттого-то Горькому так чужды книги Достоевского и Толстого, что там нет этой нетерпеливой жажды построить мир на других основаниях, дабы люди стали веселее, сытее, добрее. В Достоевском, который так ненавидел прогресс, ненавидел всякие мечты о фаланстерах, книги Горького вызвали бы яростный гнев. Горький — в непримиримой вражде со всеми душевными навыками классических русских писателей.

Замечательно, что во всех своих книгах он ни разу не задумался о смерти, о которой так любили размышлять писатели предыдущей эпохи. Смерть не пугает его, потому что он и от нее забронирован своей религией всемирного прогресса.

Наша смерть унавозит людям более счастливую жизнь — этого для Горького достаточно.

И ляжем мы в веках, как перегной, — это радует его больше всего.

— Все мы неизбежно исчезнем, чтобы дать на земле место людям сильнее, красивее, честнее! — повторяет он не раз в своих книгах. — Благодарение мудрой природе, личного бессмертия нет.

Порою кажется, что, если бы он мог, он запретил бы людям даже самые разговоры о смерти. Когда он был подростком, даже «Мертвые Души» показались ему неприятными, единственно из-за своего заглавия — мертвые. Это слово было невыносимо ему:

«Мертвые Души» я прочитал неохотно, — сообщает он в повести «В людях». — «Записки из Мертвого Дома» — тоже; «Мертвые Души», «Мертвый Дом», «Смерть», «Три Смерти», «Живые Мощи» — это однообразие названий книг невольно останавливало внимание, возбуждая смутную неприязнь к таким книгам»[8].

Эта неприязнь едва ли законна: ведь и в «Мертвых Душах» и в «Мертвом Доме» смерть упоминается только в заглавии. Но Горькому и заглавия достаточно, чтобы почувствовать вражду ко всей книге. Он требует, чтобы из нашего словаря слово *смерть* было изъято совершенно: русские люди не смеют произносить это слово, так как их жизнь свирепее смерти. Не о смерти нужно думать, а о жизни, — о том, как бы переделать ее.

«Я... хорошо знаю, — говорит он в одной статье, — что, когда истрачу все силы на утверждение жизни, то непременно умру. Но я глубоко уверен, что после моей смерти мир станет не менее, а более интересным, еще богаче красотою, разумом и силою творчества, чем был при моей жизни»[9].

Трагедии бытия, мучившие прежних великих писателей, Горький заменил трагедиями быта. Кроме публицистических, социальных вопросов, он не знает никаких других.

Как могла возникнуть такая философия?

V

Об этом Горький подробно рассказывает в той же автобиографической повести «В людях».

Повесть очень значительна (хотя она чуть-чуть тусклее «Детства»), в ней попадаются чудесные страницы, и как материал для биографии Горького она чрезвычайно ценна.

Оказывается, что еще мальчиком Горький во всех областях обнаруживал много талантов. Его так и тянуло к художествам. Возьмет, например, ножницы и вырезывает из разноцветной бумаги кружевные орнаменты, которыми украшает стропила

своего чердака. При этом напевает стишки собственного сочинения, такие:

Сижу я на чердаке
С ножницами в руке.
Режу бумагу, режу,
Скушно мне, невеже.

К стихам у него такое пристрастие, что он списывает из «Московского Листка» вирши трактирных поэтов и заучивает их наизусть. Когда ему удается прочитать Беранже, он декламирует его на кухне денщикам. Стихи, танцы, песни, книги, прибаутки и сказки с детства доводили его до восторга. И всегда была у него жажда делиться этими восторгами с другими. Одной пятилетней девочке он каждый вечер, как нянька, рассказывал сказки, в школе рассказывал сказки товарищам, а поступив к иконописцу, сделался сказочником для всей мастерской. И не только рассказывал, но и по-актерски играл свои сказки, представлял их в лицах; порою сам сочинял комедии и, размалевав физиономию, лицедействовал перед богомазами. Те, как умели, хвалили его: — «Ну, и забавник ты!» — говорили они. — «Ты, Максимыч, направляй себя в цирк, али в театр, из тебя должен выйти хороший паяц!»

Его возлюбленная говорила ему:

— Каким удивительным комиком мог бы ты быть! Иди на сцену, иди.

Подобно Диккенсу, он еще мальчиком любил передразнивать всевозможных людей, с которыми ему приходилось встречаться, — баб, мужиков, приказчиков, — бессознательно развивая и упражняя в себе беллетристический дар.

Нельзя было не заметить в нем этой многообразной талантливости. Но Россия жестока к талантам: нет, кажется, таких диких преград, которые не ставились бы юноше Горькому на его пути к культурной, человеческой жизни. Таких не знали, кажется, ни Ломоносов, ни Шевченко, ни Репин, ни другие наши самородные гении. Похоже, что между Горьким и всеми культурными ценностями, к которым он так жадно стремился, были устроены волчьи ямы, проволочные заграждения — прыгай, если хочешь, продирайся! И то, что Горький продрался, дополз, есть, оказывается, великий героический подвиг.

«Если я, — пишет он, — лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди

серьезно заботились исказить душу мою».

Книги ему были нужнее, чем воздух, а какой-то Колтунов говорил:

— Встань на колени, дам!

А когда какому-то своднику, торговавшему своей женой и сестрой и снабжавшему Горького идиотскими книжками, Горький задолжал за чтение сорок копеек, тот протянул ему масляную пухлую руку:

— Поцелуй, подожду!

Мальчик замахнулся на него в ярости гирей, а потом решил эти деньги украсть. Какой-то сумасшедший гротеск: в огромном городе будущий всесветный писатель только и может достать себе книги, что в полупубличном доме у сводника и, ради чтения, должен заниматься воровством.

Но вот книга добыта. Как же ее ночью читать? За каждую свечку — побои. Мальчик с отчаяния хватает медную блестящую кастрюлю, отражает ею лунный свет и тщится прочитать хоть строку. Но выходит еще хуже — темнее.

— Погоди, книгожора, лопнут зенки-то, ослепнешь, — пророчат ему окружающие и, конечно, рвут эти книги в клочки.

— Это очень вредно — книжки читать, — слышит он на каждом шагу. — У нас на Гребешке одна девица хорошего семейства читала-читала, да в дьякона и влюбилась. Так дьяконова жена так страмила ее — ужас даже! На улице, при людях...

— Вот они, читатели... Железную дорогу взорвали, хотели царя убить...

— Книги сочиняют дураки и еретики...

— А Псалтырь? А царь Давид?

— Псалтырь — священное писание, да и то царь Давид прощения просил у бога за Псалтырь.

— Где это сказано?

— На ладони у меня — я те вот хвачу по затылку, и узнаешь где.

Ни учителей, ни друзей. Мальчик в каких-то стишках увидал слово *гунны* и мечется по всему городу, чтобы спросить, что это такое гунны?

Спросил у хозяина.

— Гунны? Черт его знает, что это такое! Ерунда наверное. Чепуха кипит в голове у тебя.

Он — к полковому священнику. Тот сердито ткнул в землю черным посохом.

— А тебе какое дело до этого? а?

Он — к какому-то поручику.

— Что-о?

И лишь провизор Гольдберг, большеносый еврей, объяснил ему непонятное слово...

И не только к книгам, но и ко всему человеческому приходилось продираться подростку сквозь дурацки-жестокое.

Горький, например, до страсти любит музыку и пение: это мы знаем по множеству мест в его книгах, где с особенной яркостью изображается очарование песни; но и к этому счастью у него не было в юности доступа. Только через форточку у чужого окна он с умилением слушает виолончельные звуки, и ему больно и сладко; но подкрадывается сторож и спрашивает:

— Ты чего тут торчишь?

— Музыка.

— Мало ли что! Пошел.

— Почти каждую субботу я стал бегать к этому дому, но только однажды весною снова услыхал там виолончель. Она играла почти непрерывно до полуночи; когда я воротился домой, меня отколотили.

И так на всех его путях к цивилизации. Он хочет, например, научиться черчению, но хозяйка то обольет его чертежи квасом, то испачкает их лампадным маслом, то схватит его за волосы и тычет лицом в чертеж, разбивает ему губу и нос, рвет его работу в клочки.

Что же, спрашивается, было ему думать о людях?

— Я видел, что люди, окружавшие меня, не способны на подвиги и преступления... и трудно понять, — что интересного в их жизни? Я не хочу жить такой жизнью... Это мне ясно, — не хочу.

То жалея, то ненавидя их, смутно ощущая в себе какие-то растущие, необыкновенные силы, зовущие к необыкновенным деяниям, он, мальчик, в мессианском порыве, уже нередко мечтает каким-нибудь фантастическим подвигом спасти и себя и их, вырвать всех из этого звериного быта, или — как пишет он в повести — «дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё и сам я — завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюбленных друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни — красивой, бодрой, честной».

Так зародилась горьковщина.

VI

Род человеческий болен, весь в язвах и струпьях, нужно вылечить людей. Все люди — красавцы, таланты, святые, и, если бы уничтожить нарывы и прыщи, покрывающие атлетическое тело

народа, вы увидели бы, как оно дивно прекрасно.

Все мировоззрение Горького зиждется на этом единственном догмате.

Многократно изображая Россию, как некую огромную больницу, где в незаслуженно-лютых муках корчатся раздавленные жизнью, Горький чувствует себя в этой больнице врачом или, скажем скромнее, фельдшером, и прописывает больным разные лекарства. Лечить — его призвание. Он всегда только и делал, что лечил. Недаром бог ему мерещится лекарем. Каждая его книга — рецепт: как вылечить русских людей от русских болячек. Лечебник русских социальных болезней. Ни одной своей книги он не написал просто так, безо всяких медицинских целей. Сначала он лечил нас анархизмом, потом социализмом, потом коммунизмом, — но, чем бы ни лечил, всегда верил, что, стоит нам принять его лекарство, и все наши болячки исчезнут. И всегда был убежден, что его последний рецепт самый лучший, что он знает ту единоспасительную истину, которая приведет человечество к счастью. Для него нет неизлечимых болезней, он доктор-оптимист: все отлично, вы выздоровеете, только глотайте пилюли, которые он вам прописал. Отсюда всегдашний мажорный, утешительный тон его книг: какие бы ужасы он ни описывал, он видит, что они преходящи, и — главное — знает отчетливо, как от этих ужасов избавить.

И самые термины его статей — медицинские. В «Двух Душах» и «Письмах к читателю» он говорит о какой-то *«эпидемии»*, о какой-то *«заразе»*, о *«самозащите от ядов»*, *«о болезненно*-развитой чувственности». Эпитет *болезненный* в применении к социальным явлениям встречается у него на каждом шагу. То он пишет о *«болезненном* стремлении к развлечениям», то о *«болезненной* склонности к пессимизму», то о *«болезненности* романтизма», то о *«болезненном* мистическом анархизме», и в своей статье «О карамазовщине» беспрестанно употребляет слова:

— «Болезни национальной психики»... «общественная гигиена»... «духовное оздоровление общества»... «нездоровые нервы общества»... «здоровые силы страны»... «здоровая атмосфера страны»... В повести «В людях» снова:

— Заразная грязь [общества].

— Ядовитая отрава жизни.

Иначе он и не умеет мыслить. Даже прежний его романтизм был ему нужен не столько для себя, сколько для нас, пациентов. Он был романтиком, ибо думал, что романтизм — лекарство. А чуть обнаружилось, что романтизм — отрава, он тотчас же перестал быть романтиком. Также и индивидуалистом он был лишь дотоле, доколе верил, что индивидуализм целебен. А чуть

разуверился в этом, выбросил его вон из души. Тут беспримерная дисциплина воли: человек по внушению долга перекраивает всё свое естество, приказывает себе, что любить и чего не любить.

Но неужели эти воспоминания о детстве и отрочестве суть тоже медицинские книги, а не архив, не история? Ведь все болезни, изображенные там, относятся к прошедшей эпохе и, кажется, давно уже излечены. Раны зажили, боль отболела. Неужели Горького не могло потянуть просто сантиментально порыться в сувенирах минувшего и воскресить в душе невозвратно угасшие образы? Мало ли таких мемуаров печаталось в «Русской Старине» и в «Историческом Вестнике»? Повести Горького относятся к семидесятым и восьмидесятым годам, к царствованию Александра II, многое в них успело покрыться 40-летнею пылью, — причем же здесь современная Русь?

Все эти соображения могли бы быть правильными, но только не в отношении Горького. У Горького не такой темперамент, чтобы он мог предаваться лирической грусти, сладостно-томному тургеневскому размягчению души; истоки его творчества другие, и он энергично подчеркивает в обеих своих повестях, что это вовсе не мемуары о былом, а насущнейшие книги о нынешнем.

«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, — пишет он в повести «Детство», — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И с обновленной уверенностью отвечаю себе: стоит. Ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день».

И о повести «В людях» буквально повторяет то же самое:

«Зачем я рассказываю эти мерзости? А чтобы вы знали, милостивые государи, — это ведь не прошло, не прошло... Дабы вы вспомнили, как живете и чем живете. Подлой и грязной жизнью живем все мы, вот в чем дело!..»[10]

Вот зачем он написал эти книги: для излечения нынешней (а не для обличения прежней) России, — чтобы искоренить нынешние свинцовые мерзости, вырваться из нынешней грязи!

Чем же Россия больна? Как он хочет вылечить Россию? Какие он рекомендует лекарства? Для ответа на эти вопросы, нам, кроме повести «В людях», будет чрезвычайно полезна маленькая статья Горького «Две Души», появившаяся почти одновременно с повестью. Все, о чем трактует повесть, сказано очень четко в статье, повесть есть как бы некий альбом иллюстраций к тезисам этой статьи. Когда «Две Души» появились в печати, их встретили возмущенными возгласами:

«Это лживое и несправедливое обвинение нашего народа Максимом Горьким мы должны отвергнуть с глубочайшим

негодованием», — писал один из бывших соратников Горького, Евгений Чириков, и сравнивал его статью с плевком в лицо народа.

«Горький унижает весь русский народ, отнимает у него всякую искру, не дает ему надежд на возрождение», — негодовал Леонид Андреев.

И как бы для того, чтобы ответить на эти негодующие возгласы, чтобы подтвердить свою краткую и поневоле голословную статью неопровержимыми данными, заимствованными из действительной жизни, Горький и написал эту повесть. — «Вы мне не верите, вы полагаете, что я клеветнически порочу Россию фантазиями; но вот фотографии с натуры», — таково значение этой повести. Похоже, будто путешественник, рассказы которого о виденных им краях кажутся всем небылицами, вдруг достал из кармана подлинные, сделанные кодаком снимки, чтобы пристыдить маловеров.

Как, например, возмущались кругом, когда Горький в своей статье заявил, что русская душа больна жестокостью, что наш быт палачески-свиреп! Эти заявления казались бредовой клеветой, но повесть Горького подкрепляет их фактами. Где я ни раскрывал эту повесть, на каждой странице читал:

— Поленом по голове... по глазам... в морду башмаком, каблуком... гирей по лбу.

Самого Горького, 13-летнего мальчика, оказывается, то высекут так, что потом везут в больницу, то натыкают ему иголок в сапоги, чтобы он до крови исколол себе пальцы, то сунут ему в рот папиросу, набитую порохом, чтобы он, закурив, обжег себе лицо, — словом, все то же, о чем мы читали в «Городке Окурове», в «Детстве», — однообразное разнообразие пыток.

— Люди, брат, могут с ума свести, могут! — читаю я на каждой странице. — Мучители!.. Они злее клопов.

По-азиатски, по-татарски свирепы эти лютые русские люди, о которых принято стихами и прозой твердить, как о кротчайших смиренниках, жалостливая нежность которых умиляет их самих до восторга.

Вот один из них, задушевный певец (поют-то они задушевно!), набрасывается на доверчиво-влюбленную в него женщину, бьет ее с размаху по лицу, раздевает ее догола и, крикнув ей вдогонку позорное женщине слово, гонит голую по улице к мужу, который искалечит ее, — и все это ни с того ни с сего, просто так, безо всякой причины. Она ползет на четвереньках, как овца, висят ее тяжелые голые груди, она плачет, а про нее говорят «сука» и радуются, что муж искалечит ее.

Одурев от безвыходной скуки, эти несчастные заставляют

другого несчастного съесть в один присест, для потехи, десять фунтов ветчины: изощрены, азиаты, в мучительстве! Несчастный жует и жует, на него страшно смотреть, кажется, что он сейчас заглотается ветчиной по горло, задохнется — или заплачет, а его упрекают: опоздал, подлец, на четыре минуты!

И самое страшное — то, что эти люди действительно добры, действительно жалостливы и любвеобильны. Но в чем же, кроме песен, сказалась их жалостливость?

Какие, например, были добрые славянские лица у тех солдат, с которыми в юности познакомился Горький, какую они внушали ему доверчивую, братскую приязнь! И, когда самый добрый из них с такой добродушной славянской улыбкой предложил ему свою папиросу, как же было от нее отказаться?

«Я закурил — и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови; слепой, испуганный, я топтался на месте», — а добряки хохотали ангельски незлобивым хохотом.

Таких эпизодов у Горького в его последних произведениях множество. Синеглазая, милая, ласковая, благодушная славянская женщина нежно просит кого-то убить ее постылого свекра:

— Пришиби моего-то свинью.

А потом обращается к юноше-Горькому с такой же очаровательной просьбой:

— А, может, ты возьмешься, пристукнешь его? А я бы тебя уж так-то ли поблагодарила.

Певучая, поэтичная, милая, но отравленная нашей азиатской жестокостью! Вот главная болезнь России, открытая Горьким: жестокость. Никто из русских писателей до сих пор этой болезни не замечал. Россию лечили от всяких болезней, только не от этой. Диагноз Горького изумил и обидел всех, даже иностранцев. Когда в Лондоне появилось «Детство», англичанин Стивен Грэхем стал защищать Россию от Горького и доказывал в «Таймсе», что, если бы Горький знал и любил Россию, как знает и любит ее он, Стивен Грэхем, он не стал бы так постыдно клеветать на свой святой, патриархальный, благодушный, боголюбивый народ.

Жестокость — вот главный недуг, отмеченный Горьким у русских. Кроме жестокости, Горький открыл в наших душах другую азиатскую болезнь — рабью покорность судьбе, дряблое непротивление року. В статье «Две Души» эта русская хворь яростно обличается Горьким, и, конечно, в его повести «В людях» только и слышишь, как все наперебой повторяют:

— Ничего не поделаешь, такая судьба.

— Судьба — всем делам судья.

— Ты на земле, а судьба на тебе.

— Судьба, братаня, всем нам якорь.

И хвалятся своим рабьим терпением:

— Положено господом богом терпеть — и терпи! — говорят со всех сторон мужики с восточным, азиатским фатализмом, и, конечно, Горький не был бы Горьким, если бы не твердил в своей книге:

— Ничто не уродует человека так страшно, как терпение.

— Терпение — это добродетель скота, дерева, камня.

В предисловии к своим «Статьям» Горький пишет:

«Я слишком много вытерпел и принужден терпеть для того, чтобы равнодушно слушать проповедь о необходимости терпения. Я не могу позволить себе учить других сомнительным добродетелям — покорности и терпению. Подобные проповеди органически враждебны мне, и я считаю их безусловно вредными для моей страны».

Даже когда его любимая бабушка, которую он так прославил в своем «Детстве», сказала ему: «терпи, Олеша; ты бы потерпел; терпи», — он и в ней почувствовал врага. И замечательно: все русские болезни, о которых он говорит в своей повести, именуются теперь у него азиатскими, восточными, монгольскими. Не просто фатализм, а фатализм восточный. Не просто изуверство, а изуверство азиатское. Азия в нашей крови, Азия в нашем быту — вот единственная наша болезнь, породившая все остальные.

Когда повар Смурый хочет кого-то выругать, он говорит: «Аз-зиаты! Мор-рдва! Азиаты!»

«Наши национальные недуги фатализм и мистицизм — зараза, введенная в кровь нам вместе с кровью монгольской», — повторяет Горький на множестве страниц. Все, что ему в теперешней России отвратительно, оказывается у него азиатское.

«Нам нужно бороться с азиатскими наслоениями в нашей психике, нам нужно лечиться», — пишет он в статье «Две Души», и, конечно, напишет не раз.

Да, мы лирики, таланты, артисты, песни поем удивительные, о боге говорим виртуозно, но в нашем житейском быту почему же все так сумасшедше бессмысленно? Почему, например, в той квартире, где Горький был помощником кухарки, ход из кухни в столовую лежал через маленький узкий клозет, через который вносили в столовую кушанья, — символ русской чепухи и неустроенности? И все приемлют эту чепуху, как судьбу, и, копошась в невероятном, воистину азиатском зловонии, с факирским азиатским равнодушием к условиям внешнего быта спорят о своем азиатском: о боге, о судьбе, о душе.

Вот эта нехозяйственность, дурацкая неприспособленность к жизни, все это в нас — азиатское. Горькому не надоело

доказывать в десятках рассказов, статей, повестей, из году и год, много лет, что, если мы пьяницы, то в этом виновата Азия, если мы лентяи, виновата она же; если мы странники, лишние люди, Обломовы, Онегины, Рудины, опять-таки виновата она; если мы скопцы, изуверы — за все отвечает Азия!

Нет таких мерзостей в русской душе, которых Горький не объяснял бы теперь этой нашей универсальной болезнью, первопричиною всех остальных. И конечно, если наша болезнь — Азия, то наше универсальное лекарство, наша панацея — Европа. «Утешеньишко людишкам» — только там.

Горький вообще мыслит без оттенков и тонкостей. В его художественных образах бездна нюансов, а мысли элементарны, топорны, как бревна, и так же, как бревна, массивны — этакие дубовые, тысячепудовые тумбы; их не прошибешь никакой диалектикой, так они монументальны и фундаментальны; о них хоть голову себе разбей, а их не сдвинешь. Если наша гибель — Восток, то наше спасение — Запад, а если наше спасение Запад, — то — к черту все, что не Запад!

О, Русь, в предведеньи высоком
Ты мыслью гордой занята.
Каким ты хочешь быть Востоком —
Востоком Ксеркса иль Христа?

— спрашивал наш азиатский мудрец.

— Ни Востоком Ксеркса, ни Востоком Христа, — запальчиво отвечает Горький. — Христов Восток еще опаснее Ксерксова; наша азиатская кротость гибельнее нашей азиатской жестокости: каждая глава его повести только о том и твердит.

И стоит Горькому хоть на мгновение от Востока, от городка Окурова оглянуться на Запад, на то Сансуси, которое суждено нам всем, где так вкусна и сытна чечевичная похлебка всяких физических благ, он становится преувеличенно весел. В посрамление Востока, в поучение Востоку, он пишет, например, «Итальянские Сказки», где каждая буква просто танцует от радости. Эта книга, посвященная Западу, вся о праздничных лицах, о музыке, о веселых огнях, о веселом колокольном перезвоне. В ней — в пику Востоку — рассказывается, как на Западе тысяча генуэзских рабочих, чтобы помочь своим пармским обнищавшим друзьям, приютили у себя их детей, кормили их, одевали, ласкали; как в Неаполе, когда забастовали трамваи, вся толпа, что-бы помочь забастовщикам, весело ложилась на рельсы,

с хохотом, с забавными гримасами. Стыдись же, Восток! учись же, Восток! подражай же, Восток! Вот какая на Западе уютная, нешершавая жизнь! Вот какова будет Русь, когда излечится от Востока, от Азии! Пляшущие, поющие дети, веселые Друзья всему миру! Черная немочь пройдет —

И лазурней станет небо,
И просторнее сердца!

К черту все, что не Запад! Недаром в этих сказках все люди — смеющиеся. Где ни раскроешь, читаешь:

— Весело хохочут мальчишки...

— Девушки улыбаются парням...

— Дети поют, смеются...

— Солнце смеется...

— Они все трое смеются...

— Иоанн смеется...

Но вот на минуту все гаснет на этом позолоченном Западе, это значит: появился Восток. В Италию приехали русские. «Они, — говорит Горький, — приходят некрасивые, печальные, смешные и чужие всему. Все меркнет и тускнеет при виде их».

Они нюхают свой кофе и говорят: «отвратительно».

Они смотрят на веселых дельфинов и говорят: «похожи на свиней».

Они смотрят на веселых итальянцев и говорят: «похожи на жидов»...

Они — несчастные, слепые и глухие. И все потому, что азиаты. Объевропеились бы — и стали бы счастливы. Вот простой и чудодейственный рецепт. Обшарьте все нынешние романы, рассказы и повести Горького, соберите, сгоните оттуда всю огромную толпу страждущих, стонущих, плачущих, и Горький мгновенно утолит их страдания своей универсальной панацеей.

Мысли Горького всегда так лубочны, знают только черную и белую краски, разделяют весь мир пополам[11]. В этом их главная сила. Когда-то он разделил всю Россию на Соколов и Ужей: Ужи пресмыкались в грязи, а Соколы парили в небесах. Соколы воплощали все белое, а Ужи воплощали все черное, что только было в России, и Россия приняла эту нехитрую схему, ибо жизнь насытила ее насущнейшим, богатым содержанием.

Теперь то же самое: велика ли мудрость разделить всю Россию на Восток и Запад? Но эта схема для той эпохи была насущнейшая: тут были все ее тревоги и боли, тут широчайше

обобщенная (и потому обедненная) программа ее будущей всероссийской работы. В 1912—1913 годах Горький вторично, как и 20 лет тому назад, услышал в себе и сказал вещее, исторически нужное слово, — и в этом его новая заслуга, ибо что такое Запад сейчас для России? Это наука, это лучшие завоевания культуры, это преодоление азиатского быта, это оборудование новой гражданственности, — весь наш завтрашний неминуемый день.

Горький снова дал целому поколению широкую алгебраическую формулу. Для разнообразнейших стремлений эпохи.

И пусть Восток это Платон Каратаев, и Достоевский, и Глинка, и Розанов, и все наши песни, вся эстетика наша, все самое щемяще-родное, все, что есть в нашей душе гениального, все, чем мы прелестны, обаятельны, — пусть вокруг этого Востока намотано столько наших жил, что — дернуть, и, кажется, сердце порвется, Горький, верный велению истории, глухой и слепой ко всему остальному, рушит все эти роковые сокровища, хоть и любит их так же, как мы.

«Бесы» Достоевского служат восточным идеям, и вот Горький остался без «Бесов». «Война и мир» прославляет восточную мудрость неделания, невмешательства во внешнюю сутолоку человеческих дел, — Горький отказался от «Войны и мира». Тютчев — поэт азиатской нирваны, покорности, изнеможения, тления, — Горький отрекся от Тютчева.

Он хорошо понимает, на что поднимает руку. Ведь он, как и мы, спаян кровью с этим проклинаемым, но милым Востоком. Ведь даже его боготворимая бабушка, и все самое поэтичное в ней, есть в сущности тот же Восток. Запада в ней нет ни кровинки: все ее молитвы, ее песни, ее милостыни, созерцания, скитания, ее светлое страдальчество, ее покорливость — все это воплощение Востока, и не без боли же Горький, прославивший ее, как святыню, отталкивает и ее ради новой святыни, святейшей, — ради не-кроткой, не-смиренной, не-поэтической, позитивной, деловитой России.

Хозяйственная, деловитая Русь, — у нее еще не было поэта, и знаменателен и исторически-огромен тот факт, что вот поэт наконец появился, и там, где доселе была пустота, стали-таки сбегаться, скопляться какие-то крупицы поэзии. Это показательно, ибо в каждую эпоху жизнеспособна лишь та идеология, которая вовлекает в свой круг художество своей эпохи. Дело Востока проиграно: у Востока уже нет Достоевского, а только эпигоны Достоевского. Нет Толстого, а только эпигоны Толстого. Не наследники, а последыши. Горький же — ничей не эпигон. Он не потомок, а предок. Начинается элементарная эпоха элементарных

идей и людей, которым никаких Достоевских не нужно, эпоха практики, индустрии, техники, внешней цивилизации, всякой неметафизической житейщины, всяческого накопления чисто физических благ, — Горький есть ее пророк и предтеча. Должно быть Вячеславу Иванову как-то даже конфузно следить за его простенькими религиозно-философскими мыслями; должно быть они кажутся ему пресными, плоскими, куцыми. Но Горький пишет не для Вячеслава Иванова, а для тех примитивных, широковыйных, по-молодому наивных людей, которые — дайте срок — так и попрут отовсюду, с Волги, из Сибири, с Кавказа ремонтировать, перестраивать Русь[12]. Вчерашние варвары, они впервые в истории вливаются в цивилизацию мира...

Да и как Горькому не быть псалмопевцем цивилизации, если она далась ему ценою незабываемых мук и трудов! Русская «душа» все еще не умеет поверить в цивилизацию, и когда, например, появились в России первые аэропланы, самые вещие из наших поэтов всячески отчуровывались от них:

Как ты можешь летать и кружиться
Без любви, без души, без лица?
О, стальная, бесстрастная птица.
Чем ты можешь прославить Творца?

— обращался к аэроплану один из вдохновеннейших наших поэтов (Александр Блок), и воистину это был голос брамина.

И другой русский поэт (К. Фофанов) тоже, вместо восторженных од, встретил авиаторов такими словами:

О, мне затеи эти жалки,
Смешон восторг людских сердец:
На их летающие палки
Глядит с улыбкою Творец.

Оба стихотворения не случайно говорят о Творце (с большой буквы). В технике они видят раньше всего проблему религиозную. И точно так же воспринимал авиацию властитель тогдашних дум Леонид Андреев. Один из его героев говорил:

«Воздушный полет в пределах нашей земной атмосферы ничего не изменит в нашем стремлении к безграничному полету,

и бесплодность его сделает его еще более мучительным».

Полет авиатора постоянно был сравниваем с иным полетом, полетом души в бесконечность, и, естественно, оказывался, в глазах русских людей, жалкой затеей «смерда», обреченной на позор и осмеяние.

Тогдашний модный романист Арцыбашев тоже посрамлял авиацию метафизическим полетом в нездешнее; по крайней мере и одном из его романов читаем:

— «Вон там летают... знаете?

— Летают?

— Да.

— Ну и пусть себе летают, все равно далеко не улетят».

Таково традиционное неприятие цивилизации русской литературой. У русских писателей с идеей полета связывалось представление о запредельных мирах, и потому полет авиаторов, в тесных пределах земной атмосферы, казался им полетом мухи в банке. У Алексея Толстого, в одной из его повестей, так и говорят об авиаторе:

«Человек один пузырь построил и полетел... Что за дурак человек! В самом деле полетишь и поверишь, что все-то тебе известно, и со всем ты совладал. Как муха в стеклянной банке!»

То, что другим показалось бы демонстрацией чудодейственной человеческой силы, им кажется новым свидетельством нашей духовной бескрылости. «Ах, если бы живые крылья души, парящей над толпой!» Им дают новую радость, новую фантастическую силу, а они, как толстовский Аким, лопочут: «таё, таё. А Бог? А душа?» Американец Уитмэн пятьдесят лет назад возгласил, что «в работе машин и в работе ремесленников он видит *символы и знамения вечности»*, и с набожным благоговением воспел:

> Доменную печь и плавильную печь,
> И сахарный завод, и железопрокатный завод, и шелкоткацкую фабрику,
> И шлак, и чугунные болванки,
> И гладкие крепкие рельсовые скрепы в форме буквы Т,
> И паровую лесопилку, и маслобойню, и фабрику свинцовых белил.

Но все это слишком мизерно для поэтов страны Неделания. Поставьте рядом с ними хотя бы Уэллса, который весь окружен рычагами, шестернями, жироскопами, колбами, или Киплинга, в

котором созерцание многосильной турбины вызывает те же эмоции, какие в Фете вызывало созерцание звезды. Как надменно этот Киплинг смеется над нами, славянами, за то, что мы на всем протяжении истории еще не создали ни одного гвоздя, ни одной — самой ничтожной — машины! «Семьдесят миллионов человек, — пишет он в рассказе «The Man Who Was» — семьдесят миллионов человек, которые не сделали еще ничего, ни одной вещи!» *Сделать вещь* — в этом, по Киплингу, высшее призвание человека. Всех людей он рассматривает главным образом со стороны их профессии: маячные сторожа, лесоводы, рудокопы, кочегары, моряки, миссионеры, солдаты — любопытны ему лишь постольку, поскольку они совершают свою кочегарскую, рудокопную, миссионерскую и всякую другую работу.

И вспомните старо-английские мистерии о том, как Ной сколачивал, смолил и оснащал свой ковчег, или Шиллерову «Песню о колоколе», или Лонгфеллову «Песню о постройке корабля», или знаменитую поэму Оливера Голмса о том, как дьякон построил себе вечную бричку, или рассказ Генри Торо, как у себя в лесу он построил печь, — всюду тот же ненасытный аппетит к деланию новых предметов, вкус к архитекторству и инженерству (который дошел до своего апогея еще в «Робинзоне Крузо», в начале XVIII века) — и как смеялся над этим величайшим человеческим свойством наш гениальный человек из подполья.

«Я согласен, — говорит Достоевский, — человек есть существо по преимуществу созидающее, присужденное заниматься инженерным искусством, то есть вечно и беспрерывно дорогу себе прокладывать хотя куда бы то ни было».

Дорога прогресса, по ощущению всех дореволюционных русских писателей, великих и малых, есть дорога в пустоту, дорога — *куда бы то ни было*. Здесь Достоевский сходится с Толстым и Блок с Баратынским. Русская литература предпочитала оставаться с толстовским Акимом в дураковом царстве с тремя чертенятами, лишь бы не прославить это строительство «куда бы то ни было».

Куда бы то ни было! Но вот человек строит и строит — и наконец выстраивает себе хрустальный дворец, где ни прежних язв, ни судорог, одно благоденствие, сытость, комфорт. А дальше что? А дальше ничего. Неужели в этом вся цель, венец и предел всех желаний, чтобы выстроить себе хрустальный дворец, этакий «капитальный дом с квартирами для бедных жильцов по контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске». «Да отсохни у меня рука, коль я хоть один кирпичик на такой капитальный дом принесу», — как бы

дразнит Горького человек из подполья, требуя, чтобы тот, во имя уважения к душе человеческой, отказался от оскорбительной мысли вылечить, осчастливить людей. «Человек только и хорош страданием, — повторяет человек из подполья, — человек от настоящего страдания никогда не откажется... Может быть страдание ему настолько же и выгодно, как благоденствие, а человек иногда ужасно любит страдание, до страсти, и это факт... Любить только одно благоденствие даже как-то и неприлично, — внушает самый русский и самый великий из русских великих писателей. — «Ну вот, выстроено хрустальное здание, все благополучны и сыты — и, конечно, нельзя гарантировать, что тогда не будет, например, ужасно скучно (потому что, что ж и делать-то, когда все будет расчислено по табличке?), зато все будет чрезвычайно благоразумно. Конечно, чего от скуки не выдумаешь... Я, например, нисколько не удивлюсь, если вдруг, ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагодарной или, лучше сказать, ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам всё это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправить к черту и чтобы нам опять по своей глупой воле пожить?»

Всё это Азия, вдохновенно отстаивающая свои права на болячки, на вонь, на помои, во имя широкости русской души, которой будто бы мало хрустальных дворцов, которая жаждет чего-то зазвездного и сытостью насытиться не может. Ради зазвездного нас поэтически тычут в блевотину. Это все тот же толстовский Аким, та же толстовская сказка о дураковом царстве и трех чертенятах, тот же высокомерный отказ от Европы, от хрустального дворца, от прогресса, от цивилизации, от всех тех лекарств, которыми, по убеждению Горького, излечится русский народ. И замечательно, что не только былые титаны, но и современные наши писатели все (разве за исключением Бунина) инстинктивно тянутся к болячкам и гноищу нашего факирского быта, утверждают этот быт и, как святотатство, отвергают всякое на него покушение. Упомяну хотя бы такого замечательного писателя, как Алексей Ремизов, автор «Крестовых Сестер»: с каким поистине садическим восторгом этот сектантски-упрямый проповедник страдальчества приветствует те пинки, тумаки, оплеухи, которыми осыпает нас жизнь! Убегание от этих оплеух кажется ему кощунственной изменой душе. — «Не смейте быть счастливыми!» — вопль его страдальческой повести. — «Счастливец всегда и непременно есть вошь, и да будет благословен тот всемирный подлец, который кувыркает нас в

горе, кручине, нужде и суёт нам в глотку железные гвозди, чтобы мы визжали и корчились!» У Ремизова в его повестях именно эта воистину азиатская тема: развенчать благополучие и увенчать беду. Нужно терзать и пугать человека, иначе он вошь непробудная. Убийства! Пожары! Катастрофы! Наводнения! Ливни! Землетрясения! — всё страшное, что может оглушить и замучить, да низринется людям на голову, дабы они стали людьми.

Такова философия талантливейших наших писателей, созданных только что отошедшей эпохой. Всё главное ядро нашей словесности было охвачено в последние годы чувством обреченности, волей к нирване, поэзией увядания и ущерба. (Я не привожу других имен, они и без того незабвенны.)

Против этого буддийского соблазна и была направлена в последние предреволюционные годы беллетристическая публицистика Горького.

ВТОРАЯ

I

Но, излагая философию Горького, мы не должны забывать, что это философия художника.

В своей новой книге «Мои университеты», которая является продолжением повести «В людях», Горький указывает в особой главе, что ни к какой философии он не способен.

Когда ему было лет двадцать, какой-то медик так и сказал ему: «Фантазия преобладает у вас над логическим мышлением». Медик был прав; фантазия Горького сильнее его самого, а отвлеченное мышление ему не под силу. Вздумал он однажды послушать ряд лекций по истории философии, но едва дошел до Эмпедокла, дальше слушать не мог, после первых же слов устал, столько фантастических картин и видений вызвала у него эта лекция.

Философские идеи тотчас же превращаются у него в тысячи образов, которые яростным вихрем налетают на него и вертят до потери сознания. Он еще не вник в систему Эмпедокла до конца, а уже перед ним закружились оторванные головы, отрезанные ноги, уши, глаза, носы, клочья человечьего мяса. Замученный этой бешеной пляской, он понял, что философия не для его темперамента.

— У тебя, брат, слишком разнузданное воображение, — укоризненно сказал ему юный философ, пытавшийся познакомить его с Эмпедоклом.

Укорять было не за что, — без этого воображения он не был бы Горьким; по, конечно, при таком воображении невозможно воспринять, скажем, Гегеля. Мысли заменяются галлюцинациями, теории — телами и вещами. После краткого урока философии с Горьким случилось такое:

«Ко мне, — сообщает он, — подходила голая женщина на птичьих лапах вместо ступней ног, из ее грудей исходили золотые лучи; вот она вылила на голову мне пригоршни жгучего масла, и, вспыхнув, точно клок ваты, я исчезал».

Немудрено, что всю главу об этих ужасных видениях Горький назвал «О вреде философии»[13].

Неспособный к отвлеченному мышлению, к каким бы то ни было категориям, формулам, схемам, он естественно оказался непригоден к наукам, имеющим дело с абстракциями. Можно ли сомневаться, что, например, к математике у него не нашлось

никаких дарований? Когда он учился азбуке, он картинно представлял себе каждую букву в виде какой-нибудь твари: буква З — червяк, буква Г — рабочий его деда, и проч. Замечательный мастер живой, живокровной речи, он все же с величайшим трудом — даже в зрелых годах — усваивал себе ее грамматику, так как грамматика стремилась свести эту речь к отвлеченным категориям и формулам, а он был весь в конкретном ощущении словесных образов, красок и звонов[14].

Поэтому ничего не знают о Горьком те, кто ощущает его, как мыслителя.

Его творчество инстинктивно. Его сила — в богатом неукротимом цветении образов. Он, как и всякий художник, не всегда понимает те образы, которые в таком изобилии рождает его буйный декоративный талант. Распределять их по рубрикам, подчинять их системе — ему не под силу.

Тем поразительнее проявляемая им в течение всей его жизни упрямая воля к подчинению своих поэтических сил чисто логическим формулам. Иначе он и не желал творить. Ему всегда было нужно, чтобы образы явились иллюстрациями тех или иных его формул. Главное — формула, а образам — чисто служебная роль. Но художественные образы на служебную роль были согласны далеко не всегда. Порою они птицами вырывались из всяких насильственных формул, и часто случалось с Горьким, что, как мыслитель, говорил он одно, а как художник — другое. Нет, кажется, второго такого писателя, у которого творчество было бы в таком разладе с сознанием. В каждой его книге — две души, одна подлинная, другая придуманная. До сих пор мы изучали его как публициста, но стоит только вдуматься в него как в художника, и мы увидим, что перед нами другой человек, нисколько не похожий на того, которого мы знали до сих пор. Художникам нередко случается прославлять в своем творчестве то, что они сознанием отвергают. Некогда Роберт Стивенсон написал статью о разбойнике-поэте Виллоне, где жестоко расправился с этим вдохновенным злодеем. А потом написал о том же Виллоне рассказ, где окружил Виллона ореолом[15]. Неужели Горький и сам не видит, что, поскольку его искусство ускользает от его публицистики, оно склонно на каждом шагу разрушать эту публицистику и блистательно опровергать все те навязчивые мысли о Востоке и Западе, о деревне и городе, о труде и неделании, которые Горький высказывает с таким постоянством?

Сам Горький приводит нам прекрасный пример такого раздвоения личности в своей книге о Льве Толстом.

Книга эта вышла в 1919 году, в издательстве З. Гржебина.

Называется — «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом». Эти воспоминания самое смелое, правдивое, поэтичное, нежное, что сказано до сих пор о Толстом. Горький всегда жаждал «радоваться о человеке», умиляться красотою души человеческой, но это редко удавалось ему, так как эта радость тонула в вычурных, никого не заражающих фразах. А «Воспоминания о Толстом» заразительны. Горький не только демонстрирует радость, но и нас зажигает ею, — мы по-новому начинаем восхищаться Толстым, «человеком всего человечества». Он говорит о Толстом много злого и жестокого, но все это тает в молитвенной, благодарной любви. Эта книга научает любить человека, но не подобострастной, не рабьей любовью; Горький судит Толстого сурово и требовательно, он ненавидит в нем то, что самому Толстому было дороже всего — и, несмотря на это, благоговеет до слез.

Все жесткие и злые слова, которые есть в этой книге, относятся к толстовству Льва Толстого. Боготворя Толстого, Горький ненавидит толстовство. Оно кажется ему фальшивым, надуманным, враждебным тому жизнелюбцу-язычнику, каким на самом деле был Толстой. В русской литературе эта мысль о том, что Толстой жил во вражде с собою, — мысль не новая, но Горький выразил ее по-новому, в образах, ярко и громко. Не потому ли он ощутил ее с такой чрезвычайной силою, что и сам он тоже человек двойной, что рядом с его живописью вся его проповедь тоже кажется надуманной фальшью, что в нем, как и в Толстом, две души, одна — тайная, другая — для всех, и одна отрицает другую? Первая глубоко запрятана, а вторая на виду у всех, сам Горький охотно демонстрирует ее на каждом шагу.

С этой-то тайной душой нам теперь и надлежит познакомиться.

Для этого мы должны взять любую книгу Горького и, отрешив ее от тех нарочитых тенденций, которыми ее окрашивает автор, вникнуть в ее подлинные краски и образы.

II

Всмотримся, например, в сборник рассказов, который носит имя «Ералаш». Сборник вышел в 1908 году, и рассказы, помещенные там, относятся к той поре, когда Горький работал в пекарне, торговал баварским квасом, бродяжил, влюблялся, стрелялся, служил на железной дороге.

Первое, что бросается в этой книге в глаза, — необычайная ее пестрота. Она такая пестрая, что больно смотреть. Множество красок, и все ослепительные.

Про какую-то девушку в ней говорится:

— Дуня пестрая, как маляр...

И про каких-то баб:

— Молодухи пестрые, точно пряники...

И про какую-то женщину:

— Пестро одетая женщина... одетая пестрыми тряпками...

У этой женщины даже физиономия пестрая — «сборная, из нескольких кусков». А у какой-то другой — «лицо размалевано самыми яркими красками».

И третья:

— На ней красная кофточка, зеленый галстух с рыжими подковами, юбка цвета бордо... бантики оранжевого цвета.

Такова вся книга, таковы в ней люди и вещи. Даже мысли у этих людей разноцветные:

«Разноцветно, разнозвучно играют умы».

В этой пестроте все очарование книги. Недаром ее имя — «Ералаш». В ней и в самом деле ералашная путаница ослепительных пятен, доведенных до предельной яркости. У героев не розовые, а *кумачные* лица; о небе говорится: *очень* синее.

И какое множество в этой маленькой книжке людей! — они-то ее и пестрят. Что ни страница, то новые. Горький не любит (или не умеет) слишком долго останавливаться на каком-нибудь одном человеке. Ему нужна пестрая вереница людей; ему нужно, чтобы эта вереница быстро текла по книге красно-сине-зеленой рекой, и, когда прочтешь его последние повести («Исповедь», «Кожемякин», «Детство», «По Руси», «В людях», «Ералаш», «Мои университеты») — покажется, что ты долго смотрел на какую-то неистощимую процессию людей, яркую до рези в глазах. Горькому словно надоедает писать об одном человеке, он жаждет пестроты, толчеи, ералаша. Он моменталист-портретист: изобразить во мгновение ока чье-нибудь мелькнувшее лицо удается ему превосходно. Это его специальность. Но изобразит — и готово. Через несколько строк — Долой. Проходи, не задерживай! В одной «Исповеди» столько намалевано лиц, что другому романисту, например Гончарову, хватило бы на двенадцать томов. Интересно бы сделать перепись в этой густонаселенной стране — в книгах Горького, — сколько людей там приходится на каждый квадратный вершок? Горький с каким-то все возрастающим сладострастием тянется к этой ярмарочной, буйной, азиатской, ералашной пестроте. Смотрит на нее ненасытно, и, сколько малявинских красок ни брызгает к себе на страницы, все кажется ему мало. Я вчитываюсь хотя бы в первый рассказ этой книжки, который так и называется «Ералаш».

Ослепительно сверкают там апрельские лужи, празднично горит церковный крест. Вот *рыжебородый* татарин, вот пёстрая, очень пёстрая женщина: в *синем* жакете, в *желто-зеленой* юбке, в *пунцовом* платке. Но для Горького эти краски — не краски. Ему хочется бешеной яркости, и вот перед нами под *огненным* солнцем, по *черному* бархату степи, тянется крестный ход, *золотой, малиновый, оранжевый*, сверкают хоругви и ризы священников, и над мохнатыми головами людей, «сверкает, ослепляя, квадратный кусок золота, весь облеплен солнцем». Яркий ситец, золото, кумач — татарская, византийская Русь!

И какие пёстрые ералашные звуки: хохот, песни, звоны, прибаутки, зазывания и божба торгашей.

И какие ералашные события: тут мертвец, а там целуются, тут торгуют, а там замышляют убийство.

Хмельно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругом!

И все это в чаду сладострастия, ибо рядом со зрителем (а, значит, и рядом с читателем) сидит румяная, сытая, полнокровная, полногрудая женщина, которую томит весенний хмель, которая млеет на солнце, как полено на костре. Она источает какой-то пьяный угар, от которого этот кавардак головокружительных образов становится еще ералашнее.

Вообще в каждой новой книге Горького столько хмеля и мартовской яри, как ни в одной предыдущей, и замечательно, что чем ералашнее этот ералаш, чем он пестрее, тем он милее и понятнее Горькому. Закружившись в этой ярмарочной сутолоке, Горький чувствует себя как дома, тут ему легко и уютно, он забывает все свои угрюмые мысли об азиатской дрянности русских людей и говорит свое благодушное широкое слово:

— Прощается вам, людишки, земная тварь, все прощается, живите бойко.

III

Это в Горьком важнее всего, это пробивается в нем сквозь все его теории и догматы. Оттого-то, когда он пишет об этом, он становится отличным художником. Оттого-то ему так удался «Ералаш». Умиленная, хмельная любовь к русской — пусть и безобразной — Азии живет в нем вопреки его теориям, и часто,

когда он хочет осудить азиатчину, он против воли благословляет ее. Его живопись бунтует против его публицистики. Его краски изменяют его мыслям. У Горького есть целый ряд повестей — «Исповедь», «Лето», «Мать», — где он хочет прославлять одно, а его образы — наперекор его воле — прославляют совсем другое. Его повесть «Городок Окуров» есть, по его замыслу, анафема азиатскому быту, но можно ли удивляться тому, что, когда «Окуров» появился в печати, многие наивные читатели сочли эту анафему — осанной, и даже в «Новом Времени» какой-то патриот восхитился:

— Наконец-то Горький полюбил нашу Русь!

Патриот был глупый, он не понял идеологии Горького, но в том-то и дело, что образы Горького часто живут помимо его идеологии и даже наперекор его идеологии!

Не замечательно ли, что Горький, такой ярый поклонник Европы, проповедник западной культуры, не умеет написать ни строки из быта образованных, культурных людей! Единственно доступный ему мир — мелкое мещанство, голытьба. Чуть только дело коснется Европы, европеизованных нравов европеизованной интеллигентской среды, Горький, как художник, становится бледен и немощен. Его рассказы об Италии напыщенны и вялы. Его рассказы и пьесы из жизни русских интеллигентов («Инженеры», «Дачники», «Дети солнца» и т. д.) недостойны автора «На дне». Стоит в его произведениях — хотя бы случайно — появиться образованным людям и заговорить культурным языком, — его творческая, поэтическая энергия падает. Интеллигентский язык его собственных журнальных и газетных статей до странности сух и банален.

Ибо вся его сила — в простонародном (азиатском!) языке, пестром, раззолоченном, цветистом, обильно украшенном архаическими и церковными речениями. Здесь его богатства беспредельны — прочтите, например, «Исповедь» или «Матвея Кожемякина». Но чуть только, отказавшись от этих богатств, он потщится проявить в своем искусстве европейскую свою ипостась — ту самую, которую он так любит в себе и лелеет, — он становится косноязычен и почти неталантлив. Все истоки его творчества — Азия; всё, что в нем прекрасно, — от Азии. Ералашная, ярмарочная пестрота его образов — пестрота византийских мозаик и бухарских ковров; его темперамент ушкуйника, его мечтательная, скитальческая молодость, его склонность к унылой тоске, внезапно переходящей в лихое веселье, его экстазы жалости, его песни, его прибауточный, волжский, нарядный язык, всё самое пленительное в нем — чуждо той буднично-трезвой Европе, к которой он так ревностно

стремится приобщить и нас и себя. И сказать ли? — даже его любовь к Европе есть несомненно любовь азиата. Он любит ее религиозной, сектантской любовью, как не любит ни один европеец. Волга издавна колыбель и питомник сектантов, и, чем больше Горький говорит о Европе, тем явственнее чувствуется в нем волжский сектант.

Когда Горький пишет о русской Татарии (которую он, против воли, украдкою любит), он нередко создает превосходные вещи, как, например, «Сторож», «Рождение человека», «Ералаш»; но чуть он начинает писать о культуре, о культурном строительстве, он становится неузнаваемо слаб. Самое худшее изо всего, что написано им, есть его «Несвоевременные мысли» — книжка, вышедшая в годы войны и составленная из газетных фельетонов. Там Горький снова восхваляет промышленность, европейскую технику, снова обличает нашу азиатскую жестокость и косность и на каждой странице твердит:

— Нам следует...

— Мы должны...

— Необходимо...

— Нужно...

Но все это так уныло, монотонно и скучно, что, при самой нежной любви к его творчеству, нет сил дочитать до конца. Кажется, что это не Горький, а какой-то нудный Апломбов нарочно канителит и бубнит, чтобы надоесть окружающим. Где ни откроешь, серо. Ни одной горячей, или нежной, или вдохновенной страницы. Когда же, забыв обо всяких «мы должны» и «нам следует», Горький любяще взглянет на свой родной «Ералаш», он тотчас же обретает и краски и кисти и становится заразительно сильным художником.

Его идеологии отмирают одна за другой, а образы остаются незыблемы.

В этом, по-моему, самое главное.

Не беда, что Горький — публицист, что каждая его повесть — полемика. Это вовсе не так плохо, как думают: ведь и «Дон Кихот» — полемика; и «Робинзон» и «Гулливер» — публицистика.

Публицистика не вредит его творчеству. Напротив, именно она побуждает его к созданию поэтических образов. Но поэтические образы чересчур своенравны: он стремится сделать из них иллюстрации к своим излюбленным публицистическим идеям, а они капризно и коварно изменяют ему на каждом шагу. Вся беда его в том, что он слишком художник, что, едва только эти образы заклубятся у него перед глазами, потекут перед ним звучной и разноцветной рекой, как он, зачарованный ими, забывает обо всякой публицистике и покорно отдается им.

Вглядитесь, например, в его «Детство». Публицистическая цель этой книги — обличить «свинцовые мерзости» нашего жестокого, азиатского быта. «Свинцовых мерзостей» нагромождено в ней необъятное множество, но, невзирая на них, общий ее тон до странности светел и радостен. — «Хорошо все у бога и на небе и на земле, так хорошо!.. Слава пресвятой богородице — все хорошо», — твердит в этой повести, наперекор всем несчастиям, бабушка Горького, смиренная и мудрая Акулина Ивановна, и это восклицание вполне выражает те чувства, которые, против воли писателя, навевает эта повесть на нас. Вместо яростных проклятий смердячей мещанской дыре, где человек человеку убийца, мы, поддаваясь лирическому внушению повести, повторяем вслед за милой старухой:

— Слава тебе, царица небесная! Господи, как хорошо все! Нет, вы глядите, как хорошо-то все!

В этом внутреннее содержание повести. Такое толстовское непротивление злу, благостное приятие сущего Горькому, как публицисту, омерзительно; но, как художнику, оно близко и мило ему, недаром бабушка Акулина Ивановна есть самый пленительный изо всех его образов. В ней — поэтическое оправдание тех чувств, которым так враждебен Горький-публицист.

Впоследствии, словно спохватившись, он сделал попытку отречься от бабушки, осудить ее *азиатскую* душу, но попытка ни к чему не привела. Слишком уж обаятельна эта медведеобразная, толстая, нетрезвая, старая женщина, у которой нос ноздреватый, как пемза, а волосы — лошадиная грива. Она сказочница, плясунья, у нее каждое слово талантливое и каждое движение талантливое. Не от нее ли у Горького дар к щегольскому, цветисто-нарядному слогу, к ладным и складным словам, к кудрявому словесному орнаменту? — «Я был наполнен словами бабушки, как улей медом», — говорит он в «Детстве» о себе, и этот мед остался в нем поныне, а его публицистические лозунги умирают один за другим, и что за беда, если он сам сегодня не помнит вчерашних, а завтра, быть может, забудет сегодняшние!

IV

Потому-то, изучая писателя, я всегда ставил себе задачей подметить те стороны его дарования, *которых он сам не замечает в себе*, ибо только инстинктивное и подсознательное является подлинной основой таланта. Критик лишь тогда имеет право верить девизам, которые провозглашает художник, когда девизы эти гармонируют с бессознательными методами его творчества, с

его стилем, его ритмами и проч.

Если бы этой мерой мы попытались измерить писания Горького, мы увидели бы, до какой степени подлинный Горький не похож на того трафаретного «борца за культуру», который канонизирован нашей обывательской критикой.

Всмотримся пристальнее хотя бы в эту «борьбу за культуру». ибо в последнее время Горький с особой энергией стал славить интеллигенцию русскую и восхищаться ее великолепными качествами.

Еще в «Детстве» он изобразил, как трагично положение культурных людей в нашей темной зверино-жестокой стране. Первый интеллигент, с которым познакомился Горький, был тощий, сутулый, близорукий, рассеянный. Звали его Хорошее Дело. Он был химик, и все в мещанстве ненавидели его:

— Меловой нос! Аптекарь! Фальшивомонетчик! Богу враг и людям опасный!

У маленького Горького уже тогда ныло сердце от этой неприязни дикарей к непонятному для них интеллигенту. Он спрашивал у химика:

— Отчего они не любят тебя никто?

Химик отвечал с сокрушением:

— Чужой, понимаешь? Вот за это самое. Не такой...[16]

Эти *чужие* люди, по убеждению Горького, суть лучшие люди в России.

Года полтора тому назад в датской газете «Политикен» Горький прославил этих «лучших людей», как великих героев и мучеников:

«Русская интеллигенция, — читаем мы в этой статье, — в течение почти ста лет мужественно стремилась поднять на ноги русский народ, тот народ, который до сих пор жил у себя на земле тупой, бессмысленной, несчастной жизнью. Русская интеллигенция на всем протяжении нашей истории является жертвой косности и неподвижной тупости народных масс»[17].

Народные массы, по Горькому, тупы. Только интеллигенция, слепо любя эти массы, может дать им свет и свободу.

«Революция без культуры — дикий бунт, — писал в начале революции Горький. — Революция только тогда плодотворна и способна обновить жизнь, когда она сначала совершается духовно — в разуме людей, а потом уже физически — на улицах, на баррикадах»[18].

Чем дальше, тем громче Горький исповедует свою любовь к интеллигенции. Его последние рассказы, напечатанные в 1923 году, продиктованы именно этой любовью. Народников, изображаемых там, он именует «почти святыми», хотя и видит,

что они слепы и глухи к подлинному народному быту. Но даже эта слепота кажется ему теперь умилительной. «Великомученики разума ради», именует он теперь интеллигентов.

«Эти люди, — говорит он о них, — воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства по каким-то новым канонам человеколюбия».

Сочувственно цитирует он слова Короленко, что интеллигенция — это «дрожжи всякого народного брожения и первый камень в фундаменте каждого нового строительства... Человечество начало творить свою историю с того дня, как появился первый интеллигент».

Даже в доме терпимости считал он долгом защищать интеллигенцию от непонимающей черни и объяснял «девицам», что студенты любят народ и желают ему добра. («Мои университеты», стр. 32.)

И несмотря на все это, несмотря на то, что сам Горький уже больше тридцати пяти лет живет интеллигентскою жизнью — среди книг, журналов, музеев, картин, образованнейших русских людей — и за границей и дома, — он все же, повторяю, внутренне, всем творчеством, всем своим подлинным я так и не умеет прилепиться к обожаемой им интеллигенции. Когда он пишет об интеллигенте или о чем-нибудь интеллигентском, он, как мы уже видели, теряет все свои краски, становится тусклым, неумелым и скучным. Помню, как удивила меня его статья о покойном Семеновском, напечатанная некогда в «Летописи»: ничего не уловил он своим хватким и цепким глазом в облике этого типического интеллигентского деятеля. Написал о нем нечто до конфуза беспомощное — и снова привычной рукой стал малевать свою Растеряеву улицу, которая так хорошо удается ему. Весь художественный аппарат Горького приспособлен исключительно для изображения дикой, некультурной России. В этой области он — уверенный мастер. Но для того, чтобы изобразить интеллигента, в его аппарате не хватает каких-то зубцов. Когда я прочитал его книгу «Мои университеты», куда, наряду с другими автобиографическими очерками, входит очерк о Владимире Короленко, мне бросилось в глаза, до какой степени этот очерк ниже всего остального, что помещено в этой книге. В этой книге отлично нарисована женщина, которая, выставляя напоказ свои груди, кричит:

— Глядит-ко, как пушки... Али вы найдете где этакую сласть?

В ней отлично нарисован уныло-похотливый пекарь, щупающий ноги своей сонной любовницы; хорош в ней Баринов, бродяга и лгун, хороши всяческие павшие, веселые, полудикие

русские люди. Рядом с ними образ Короленко робок, жидковат, розоват. Нет той уверенной кисти, которою Горький изображает обычных своих персонажей. Тут же рядом, на соседних страницах, — как энергически описана оргия пьяных, распоясанных диких людей с неистовыми плясками, песнями, голыми женщинами! В изображении песни и пляски, — а также русского звериного пьянства, — Горький не знает соперников. Но, когда дошло до Короленко, он сразу размяк и зачах; слова у него стали сбивчивы, худосочны, расплывчаты, кое-где появилась риторика, которую в последнее время он так тщательно вытравлял в своих книгах. Не его это человек — Короленко, не его романа герой. Он ему чужой, как Хорошее Дело был чужой для его родных. Всё буйное и дикое — пожары, драки, катастрофы, всяческие разгулы страстей — так и сверкают у него под пером. Чем дальше, тем жарче изображает он женщину, женское тело, опьянение женщиной...

Вывести тысячу всяких лохматых, чрезвычайно живописных Объедков, со всеми их словами и лицами, для него привычное дело. Но, когда, например, умер Блок, Горький, многократно встречавшийся с покойным поэтом, только и мог записать о нем то, что говорила ему о Блоке одна проститутка, которую поэт пригласил в номера[19]. Блок как поэт, Блок как подлинный представитель культуры — находится вне постижения Горького. У Горького и органов нет, чтобы ощутить именно *культурное* значение Блока. Даже и представить себе нельзя, чтобы Горький мог изобразить в какой-нибудь повести такого человека, как Блок. Кувалду или Зазубрину изобразит превосходно, а Блока никак, никогда. Речи Кувалды или Зазубрины передаст виртуозно — пестрые, цветистые, нарядные, звонкие, но пусть попробует хоть на одной странице воспроизвести речь Блока — ее словарь, ее синтаксис, ее интонации. Все это ему чуждо на веки веков, ибо вся та культура, представителем коей был Блок, для Горького еще не существует. Горький — человек с большими сведениями, но культурность заключается вовсе не в том, чтобы не смешивать Ларошфуко с Фуко и Лавуазье с Демурье, а единственно — в тонкости, сложности чувств, в изощренной восприимчивости, в богатой оттенками идеологии. Идеология же у Горького, как мы видели, всегда элементарна, сводится к двум-трем параграфам; в ней нет той затейливой прелести и пышной многогранности, которыми отличается духовная жизнь подлинно культурных людей, — хотя бы Анатоля Франса, Герцена, Гейне, Томаса Гарди, — я беру первые попавшиеся мне имена. Всё это были люди культуры — пусть и отжитой, несовершенной, но рядом с ними Горький при всех своих разнообразнейших сведениях кажется почти дикарем.

Поскольку он интеллигент, он — бездарен, поскольку он неинтеллигент, он — огромный талант. Тем патетичнее его любовь к интеллигенции.

V

Но ни в чем так не вскрывается «двоедушие» Горького, как в его нынешних нападках на деревню.

Горький в последние годы люто возненавидел деревню. В его «Университетах» десятки страниц посвящены порицанию крестьянства.

«Деревня не нравится мне, мужики не понятны», — пишет он в этом рассказе. — «Все они страшно легко раздражаются, неистово ругая друг друга. Из-за разбитой глиняной корчаги три семьи дрались кольями, переломили руку старухе и разбили череп парню... В церкви за всенощной парни щиплют девицам ягодицы, — кажется, только для этого они и ходят в церковь»... «И не сердечна эта бедная разумом жизнь; заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них»...

И в газете «Политикен» Горький в то же самое время писал:

«Все, что я думаю о моей родине или, правильнее, о русском народе, о главной массе его — о крестьянской массе, — причиняет мне боль и скорбь... Повсюду — беспредельная серая равнина, и среди нее жалкий человек, как потерянный на своем унылом, корявом клочке земли, вынужденный добывать самым тяжким рабским трудом каждую крупицу своего пропитания. И этот человек преисполняется равнодушия, убивающего способность мыслить, запоминать переживаемое, накоплять идеи своего опыта»...

Рядом с деревней — город кажется Горькому средоточием красоты и силы.

«Из бесформенных мертвых глыб руды творит он (горожанин) машины и аппараты, изумительно остроумные, напоенные его духом — живые существа. Он подчинил своим высоким целям силы природы... Все вокруг него носит отпечаток страстной борьбы его духа, могущества его мечтаний и надежд, его любви и ненависти, его сомнений и веры, его трепетной души, пылающей неугасимой жаждой новых форм, идей и действий, мучительным стремлением вырвать у природы все новые тайны, найти смысл существования».

Теперь во всех своих книгах Горький непрерывно твердит:

«Я отчетливо вижу преимущества города, его жажду счастья, дерзкую пытливость разума, разнообразие его целей и задач»

(«Мои университеты», стр. 91).

Но, как художник, Горький говорит иное. Он, поэт моря и степи, поэт большой дороги, всю жизнь изображал город, как гроб. Очутившись, например, в 1906 году в Нью-Йорке, он проклял его небоскребы, его трамваи, мосты, его биржу, его рынки и лавки — и гул железа, и вой электричества, и шум работ — то есть именно все то, что делает город — городом. Нью-Йорк ненавистен ему не потому, что это Нью-Йорк, а потому, что это наивысшее воплощение города. Город казался ему «жадным и грязным желудком обжоры, который впал от жадности в идиотизм и с диким ревом скота пожирает мозги и нервы»[20].

Горькому казалось тогда, что все Линкольны и Вашингтоны должны вырваться из этого города, как из тюрьмы, — «куда-нибудь вон, прочь из этого города, в поле, где блестит луна, есть воздух и тихий покой».

Горький всегда прославлял свободолюбивых людей, которые покинули «неволю душных городов» — и вышли в поле, «где блестит луна». Как истый романтик, он всегда сочетал идею безграничной Свободы с идеей непоработенной Природы. Даже электрическое освещение в городе казалось ему оскорблением солнца и звезд: этот «огонь, заключенный в прозрачные *темницы* (!) из стекла», был в его глазах воплощением рабства.

И никакого энтузиазма не вызывала в Горьком творческая работа строителей города — ни «зловещий крик ржавого металла», ни «угрюмый вой порабощенных молний».

«Я впервые вижу такой чудовищный город, и никогда еще люди не казались мне так ничтожны, так порабощены жизнью», — писал он о Городе Желтого Дьявола. А между тем Город Желтого Дьявола есть типичнейший капиталистический город с наиболее выраженными *городскими* чертами. Очутившись среди небоскребов, Горький по-деревенски, по-русски затосковал о поле, о луне, о тихом воздухе. Это было в нем подлинное. Не только Нью-Йорк, но всякий город органически враждебен ему. С какой радостью уходил он из Нижнего в лес, и никогда никакому городу не посвящал он таких ласковых и поэтических слов, какие посвятил описанию леса.

«Темною ратью двигается лес навстречу нам. Крылатые ели, как большие птицы, березы, точно девушки»... «Мне кажется, что это очень хорошо — навсегда уйти в лес... В лесу нет болтливых людей, драк, пьянства»... «Скрипят клесты, звенят синицы, смеется кукушка, свистит иволга, немолчно звучит ревнивая песня зяблика, задумчиво поет странная птица-щур. Изумрудные лягушата прыгают под ногами; между корней, подняв золотую головку, лежит уж и стережет их. Щелкает белка, в лапах сосен

мелькает ее пушистый хвост; видишь невероятно много, хочется видеть все больше, идти все дальше»...

Мудрено ли, что, вернувшись в город, он чувствует себя несчастным и потерянным! Дом, где ему пришлось поселиться, показался ему могилой: «после привычки к чистоте поля, леса, этот угол города возбуждает у меня тоску».

Теперь же, подчиняясь новым своим публицистическим лозунгам, он заставляет себя во что бы то ни стало любить город и восхищаться его великой энергией. Но эта любовь выражается только в риторике. Переберите все книги Горького, вы не найдете в них ни единого образа, подкрепляющего эту любовь.

К деревне и к крестьянам он враждебен еще со времен «Челкаша». Но отнимите от его творчества то, что дано ему русской деревней, и у него почти ничего не останется. Как мы указывали на предыдущих страницах, ни у одного из современных писателей язык их писаний не связан так прочно с деревней, как именно у Максима Горького. Стоит только его героям заговорить «правильным», культурным, городским языком, язык этот становится мертв. Городской язык не дается ни Горькому, ни его персонажам. Он сам это чувствует — и всегда заставляет своих персонажей пользоваться тем или другим диалектом, вся сила которого в отклонениях от культурной, созданной городом, речи. Постоянно прибегает он к чисто народным суффиксам и окончаниям слов, необычным в речах горожанина. Оттого так трудно переводить его книги на иностранный язык, в них столько волжского, деревенского, даже церковно-славянского: недаром Горький учился читать по Псалтирю. Запрети его героям пользоваться такими словами, как попище, раишко, дурачишко, уморушка, схохнуть, кочевряжиться, бабахнуть, инде, жалеючи, эвона, невдале, спервоначалу, тутошный, растаковский, свычный, человече, друже, отче, делов, намерениев, — и его произведения сильно поблекнут.

Я не говорю, что его язык чисто крестьянский; нет, почти всегда это помесь крестьянского языка и мещанского. Это язык вчерашнего мужика, который завтра станет горожанином. Но сегодня он не горожанин, не мужик, а середина. Почти все персонажи Горького — наследники богатой крестьянской речи, еще не успевшие истратить наследства. В их синтаксисе и словаре есть уже немало городского, но все же главная основа — деревня.

Сам Горький во всем своем творчестве — между деревней и городом. От деревни отстал, к городу не пристал, — ни к какому месту неприкаянный, не мещанин, не мужик. Оттого-то он так любит бродяг и шатунов, оторванных от определенного быта, чуждых и деревне и городу. В этих оторванных, не нашедших себе

места на земле Горький до старости лет чувствует родное. Он и сам такой, как они. Он не барин, не интеллигент, не рабочий, не буржуй, не крестьянин — он не имеет пристанища ни в одной из сложившихся общественных групп. Он человек без адреса. Он на грани двух миров, из которых один уже начал разваливаться, а другой еще не успел сложиться. Оттого-то у него две души, оттого-то между его инстинктами и его сознанием такой вопиющий разлад. Все его инстинкты, бессознательные тяготения, симпатии, вкусы принадлежат одному миру, все его сознание — другому. Оттого-то Горький-публицист так не похож на Горького-художника. В России нет такой социальной среды, в которую он врос бы корнями. Никакая среда не может назвать его своим. Всех своих героев, оторванных от корня, от почвы, он создает по образу и подобию своему. Только такие ему и удаются, — неприкаянные. Когда же он пробует изображать ту или другую среду, которая уже успела сложиться, создала прочный быт, его талант изменяет ему. Когда он попробовал в повести «Лето» изобразить мужиков, прилепленных к земле, или в повести «Мать» рабочих, прилепленных к фабрике, результаты оказались плачевные: публицистика осталась публицистикой и не претворилась в поэзию. Сам он ни к чему не прилеплен. Оттолкнулся от Азии, но европейцем не сделался. Проклял деревню, но в городе не нашел себе места. Прильнул к интеллигенции, но внутренне остался ей чужд. Всю жизнь он на перекрестке дорог.

VI

Лучшей иллюстрацией этого являются его «Воспоминания о Толстом». Конечно, как публицист, как проповедник активности, как ревнитель западноевропейской культуры, как обличитель русской азиатчины, он всячески противится обаянию Толстого и говорит о нем жестокие слова. Но как поэт, как один из окуровцев, как внук Акулины Ивановны, он любит его нежно и набожно и по-детски льнет к нему всей своей очень русской, очень азиатской душой. Отсюда та очаровательная двойственность, которой проникнуты его записки: и осуждая Толстого, он восхищается им, и отталкивая — тянется к нему. Чует в нем врага и — полубога.

Конечно, он осуждает Толстого, как уже осуждал его неоднократно и прежде; но теперь (впервые!) к этому осуждению примешалось столько благодарных, сыновних, поэтических чувств, что все хулы стушевались и стерлись, и похоже, будто он высказывает их лишь по долгу службы, по какой-то официальной

обязанности, а на деле благоговеет (до слез) перед каждым самым незначительным словом Толстого, даже перед его капризами и слабостями.

Конечно, и в этой статье, как в прочих своих статьях о Толстом, Горький не может не поставить Толстому в вину его «монгольского фатализма», его «азиатской апологии неделанья». Конечно, он повторяет и здесь:

— Толстой «воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», непротивления злу, проповедь пассивизма — это все нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фатализмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой, неуклонным, действенным сопротивлением злу жизни... Он... желает лечь высокой горой на пути нашем к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека напряжения всех духовных сил», и проч., и проч., и проч.

Но все эти слова потонули в той нерассуждающей, стихийной любви, которая нечаянно, как будто против воли писателя, прорывается в каждой строке. Он уверяет себя, что Толстой ему чужд, а пишет о нем, как о самом родном, и чувствует себя без него сиротой.

И здесь, как везде, его лирика в разладе с его философией — и здесь, как везде, именно этот разлад и придает очарование его творчеству...

VII

Как художник, Горький не только не падает, но с каждым новым произведением — растет.

В первом периоде своего творчества — от «Макара Чудры» до «Лета» — он часто бывал слишком криклив, риторичен, фальшивил на каждом шагу и рядом с отличными образами нередко создавал маргариновые. Перечитывая его прежние книги, мы вполне понимали, почему его собственная жена задремала, когда он читал ей один из своих первых рассказов. Также был понятен нам тот ноль, который поставил Горькому Лев Толстой за «Супругов Орловых». Толстой, читая ранние произведения отметил карандашом на полях:

— Отвратительно.

— Фальшиво ужасно.

— Какая фальшь.

— Гадко.

— Очень гадко.

И лишь однажды написал: «Хорошо»[21].

Но, если бы дожил Толстой до таких произведений Горького, как «Городок Окуров», «Детство», «Ералаш», «Мои Университеты» и проч., он поставил бы ему не ноль, а, пожалуй, четверку. Замечательно, что на старости лет Горький сызнова начал учиться писать. Напечатав около десятка томов, доставивших ему всемирную славу, он не только не почил на лаврах, но самым беспощадным судом осудил свои прославленные книги и, с необыкновенною скромностью, на пятом десятке, стал пробовать другие приемы искусства, которых дотоле чуждался. В ту пору, когда другие писатели застывают в определенной манере, он, как юноша, поступил в подмастерья к Лескову и Бунину — и многому у них научился. Бунин научил его суровой экономии поэтических средств, а Лесков внушил ему пристрастие к нарядному русскому слову. Горький впервые стал относиться к своему творчеству, как к мастерству. Прежний Горький никогда не мог бы написать таких превосходных страниц, как первая глава «Городка Окурова» — спокойная, эпически-ясная, с таким четким рисунком, с такими чистыми красками.

Но единственное, что смущает меня в его последних произведениях, это — огромное число персонажей. В повести «В людях» действуют 87 человек, или даже, кажется, больше, я не досчитал до конца. В прочих книгах, начиная с «Исповеди», такие же многочисленные толпы людей. То есть не толпы, а просто — количества. Толпа, как нечто единое, спаянное однородной волей, почти никогда не выступает у Горького, хотя не было бы ничего удивительного, если бы современный писатель, в эпоху революций и войн, изобразил в качестве героя — толпу. Горький изображает не толпу, а длинную шеренгу, вереницу одиночек, которые ничем между собою не связаны и проходят, проходят, проходят один за другим. Вначале такое многолюдство возбуждает и радует, но вскоре начинает раздражать. Только что появился один человек, сказал меткое, звонкое, цветистое слово, показал свое курьезное лицо — и провалился сквозь землю: больше мы его никогда не увидим. Они прохожие, и Горький прохожий: он проходит мимо целой вереницы затейливых, забавных, любопытных людей, — посмотрит на каждого торопящимся взором и шагает дальше к другому. Так и построены все его книги, начиная с «Исповеди»: герой ходит по жизни туда и сюда, а перед ним на ходу мелькают всевозможные людишки. Каждого из этих людишек Горький изображает по-гоголевски: две-три черты, и готово! Лица и фигуры людей удаются ему замечательно, но долго всматриваться в них он не умеет, долго жить их скорбями и радостями ему не дано; к долгой дружбе со

своими героями он не способен, — его тянет к новым и новым. Оттого-то и происходит, что в его повестях каждое лицо — эпизодическое; живет минуту и заслоняется следующим. Прочтите три последние книги Горького: «Детство», «В людях» и «Мои университеты» — и спросите себя через несколько дней, кого из персонажей вы запомнили, кто из них живет перед вами? Три-четыре человека, не больше, — остальные перепутались, исчезли бесследно. А между тем каждый был изображен мастерски — и, если бы его не заслонили другие, если бы Горький не пренебрег им так скоро, мы запомнили бы его раз навсегда. И дело не в том, что людей этих слишком много, а в том, что они ничем не связаны между собою — движутся «в порядке живой очереди», почти не соприкасаясь друг с другом. Судьбы их не сплетены в один узел, как в романах Бальзака, Достоевского, Диккенса. В повестях и романах Горького — и в «Фоме Гордееве», и в «Троих», и в «Исповеди», и в «В людях», и в «Детстве» — нет никакой центральной главной фабулы, которая подчинила бы себе всех этих людей и людишек. Это целая серия маленьких фабул, кое-как перетасованных на скорую руку. Эти маленькие фабулы — тоже прохожие. Одно событие не растет из другого, а просто событие идет за событием и каждое проходит бесследно: вы можете читать книгу с начала, с середины, с конца, это все равно, в ее фабуле нет ни развития, ни роста. В этом величайшая слабость Горького. Оттого-то его романы и повести — за исключением «Детства» — при всех своих великих достоинствах, скоро утомляют читателя и, несмотря на свои яркие краски, производят впечатление тусклое. Горький думает, что достаточно поставить в центре повести «человека, ищущего правды», чтобы эта бессвязная цепь эпизодов и лиц, которыми загромождены его повести, приобрела и порядок и смысл. Нет, этого мало. Нужно всматриваться в людей не только с беглым любопытством прохожего, но с любовью, долго и взволнованно, не перепрыгивая глазами с одного на другого. Влюбленно, сосредоточенно, изо дня в день, из года в год. Толстой следит за Наташей, за Китти. Каждое, самое малое событие их жизни — для него так же торжественно и значительно, как и для них самих. Он переживает их жизнь, как свою. А для Горького все — посторонние, все как в кунсткамере: полюбуется, посмотрит — и дальше!

Он проповедует жалость — «потому что в России без жалости нельзя», — но сам жалеет тоже мимоходом: пожалеет, приласкает — и дальше! На длительную любовь неспособен. Вследствие этого неумения всмотреться в человека до конца, он, при всех своих художественных силах, так и не создал ни одного характера,

типа. У него нет ни Хлестакова, ни Обломова, ни Мити Карамазова, ни даже Расплюева. Фома Гордеев — не живой человек, а ходячий вопросительный знак. Ходит по жизни и спрашивает: что есть жизнь? чего мне надо? как жить? зачем люди живут? Весь он исчерпан на первых же двух страницах, — и все дальнейшие его появления перед нами не прибавляют к его образу ни единой черты. После «Фомы Гордеева» Горький сам увидел, что длительное проникновение в человеческую душу ему не дается, и стал живописать на ходу тысячи всевозможных людишек, с разнообразными носами, глазами, усами; но после того, как эти усы и носы промелькнули перед вами, вы остаетесь к ним так же равнодушны, как к тем, которых вчера наблюдали на Невском.

Странно, что Горький, певец Человека, автор стольких афоризмов о дивной красоте человеческих душ, только и умеет создать, что забываемые тени прохожих, которые исчезают, как сон. Очень хорош в его книге Яков Шумов, отлично изображен Капендюхин, превосходно сделаны и Папашкин, и Сухомяткин, и Устин Сутырин, но кто они такие, кто их помнит? Изобразить человека Горький может отлично, а чтобы человек жил перед нами, чтобы мы ощущали его жизнь своею — для этого ему не хватает души. Нарисованы люди отлично, но только нарисованы, а душевная их жизнь лишь бегло намечена, выражена в двух-трех афоризмах, в двух-трех мимолетных событиях, которые так же легко забываются, как и самые лица этих людей. Оттого я и назвал Горького панорамистом. Не картины он создает, а только панорамы. Панорамы пестрые и затейливые, но созданные в сущности равнодушной рукой. Душевного внимания к тому или иному человеку у Горького хватает лишь на короткий рассказ. Оттого его короткие рассказы лучше его повестей и романов. Невозможно себе представить, чтобы Горький написал, например, любовный роман — о том, как постепенно возникает любовь, как она растет и т. д., ибо для изображения *процессов душевной жизни* у него нет никаких дарований. То, чем был силен Лев Толстой, — ощущение текучести человеческих чувств, их вечного роста, движения, развития, — у Горького совершенно отсутствует. Мне уже случалось указывать, что Горький, чуть дело дойдет до изображения души, начинает прибегать к метафорам, то есть говорит о душе, как о вещи. Он пишет, например: «черви горя и страха», «ржавчина желаний», «огонь дум», «облако мысли» и проч. В его «Исповеди» мы постоянно читаем:

— Наблудил в душе, как козел...

— Как плугом вспахал душу мне...

— Словно больной зуб в душе моей пошатывает.

— Я в душе моей всякий древний бурьян без успеха полол.

В душе — бурьян, в душе — зубы, в душе — козлы: до чего такое овеществление души человеческой отчуждает ее от читателя! Представьте себе, что Толстой сказал бы про Анну Каренину: «мысли ее были как тараканы за печкой», или «в душе у нее молотили овес», — и представить себе не можете, именно потому, что вы непосредственно ощущаете эту душу, как вашу собственную, — какие же здесь тараканы и козлы? Она для вас — не посторонний предмет, который со стороны может показаться то щепкой, то тряпкой, а часть вашего я, то есть нечто динамическое, вечно меняющееся, и ни в какую формулу ее не уложишь[22]. Все попытки Горького изобразить динамику души неизбежно кончаются крахом. (Читая, например, о Кожемякине, который, по замыслу автора, должен был постепенно дострадаться до некоей спасительной истины, читатель в этом деле не участвует.) Горький изображает лишь статику душ человеческих: показывает их при бенгальском огне, в самом ярком и эффектном освещении, но показал — и довольно! Душа блеснула на минуту — и погасла. Мы полюбили ее — и забыли, потому что она не жила, а только красовалась перед нами. Горькому вечно нужен какой-нибудь новый объект для любви, со старыми ему нечего делать. Это видно из его автобиографических книг: ходит по Украине, ходит по Кубани, ходит по Крыму, все ищет, кого бы ему полюбить, но полюбит на минуту, — и дальше. Вечный прохожий, без долгих привязанностей.

VIII

Любить для него значит любоваться. Смотреть на забавных и пестрых людишек ему так же *утешно*, как на зябликов, синиц и чижей, которых он когда-то с таким любопытством рассматривал по целым неделям из-за куста в нижегородском лесу. Любоваться он умеет, как никто. Его прелестная «Ярмарка в Голтве» именно тем и прелестна, что в ней нет ни поучений, ни декретов, а просто бездумное любование жизнью. В ярмарочной пестроте и суете Горький на время забыл, что он должен во что бы то ни стало перестраивать мир, и он без злобы, без жалости отдался благодушному созерцанию людей и вещей, ничего ни от кого не требуя, никого ничему не уча, любуясь вечно милым ералашем. В такие мгновения Горький — великий художник. Стоит ему только забыть, что он доктор, судья, моралист, призванный горькими снадобьями исцелить Россию от скорбей и пороков, он обретает неотразимую власть над сердцами, ибо под всеми личинами в нем таится ненасытный жизнелюбец, который по секрету от себя

самого любит жизнь *раньше смысла* ее, любит даже ее злое и темное. Все равно какая жизнь, лишь бы жизнь! Пусть она струится перед ним разноцветными волнами, он, как зачарованный, будет смотреть на нее и твердить:

— Господи, господи! Хорошо-то все как! Жить я согласен веки вечные!

Для него, как для художника — именно все хорошо, лишь бы играло, пело, цвело, золотилось. В такие минуты он забывает, что, по его же словам, он пришел в мир, чтобы не соглашаться, в такие минуты он согласен со всем и со всеми.

В рассказе «Ералаш» он сидит и глядит, как кувыркаются вокруг него людишки, и каждому из них говорит: хорошо.

— Забавно жить! — восклицает он в этом рассказе.

— Забавно жить, и отличное удовольствие жизнь, когда тебя извне никто не держит за горло, а изнутри ты дружески связан со всем вокруг тебя.

С чем же в этом «Ералаше» он дружески связан? С крестным ходом? С богомольцами? С мертвецом, который смердит под рогожей? С Марьей, которая замышляет убийство? С жуликом Сутыриным, который насилует Марью?

Да, и с богомольцами, и с мертвецом, и с убийцей, и с жуликом. Горький в этом рассказе любуется всеми. В другое время он счел бы необходимым осудить эту «Азию», но почему-то здесь, в «Ералаше», признался, что он в полной гармонии с этим родным ему хаосом. «Задорен смех, бойки прибаутки, благозвонно поют колокола, и надо всем радостно царит пресветлое солнце, родоначальниче людей и богов. Сияет солнце, как бы внушая ласково:

— Прощается вам, людишки, земная тварь, все прощается, живите бойко».

В «Ералаше» Горький отпускает все грехи своей милой и грешной Азии и уже не афоризмами, но всей совокупностью образов внушает нам, что Азия — прекрасна. Здесь он лакомится жизнью, как некоею сладостью, и, подобно другому великому лакомке, отказывается от всяких моральных оценок и не говорит о жизни хорошо или скверно, но — *забавно, любопытно, утешно*.

Этот великий лакомка был Яков Шумов, один из героев его повести «В людях». Он ни на что не жаловался, ничему не учил, но просто любовался панорамою жизни.

— Али скажешь, не забавно жить-то? Жить, Иван Иваныч, утешно очень.

Шумов не стыдится быть лакомкой, а Горький стыдится. Не хуже Толстого он скрывает в себе это гурманское отношение к жизни, как к чему-то вкусному, забавному, и пробует затушевать

свой аппетит к бытию. Это не всегда удается ему. Так, в рассказе «Сторож», где изображаются голые женщины, пьянство, пляска, пение, дикий разгул, — Горький против поли любуется этим бешенством плоти и лишь в последнюю минуту, спохватившись, говорит несколько осудительных слов. Но слова эти немощны. Мы ведь читали его «Ералаш», мы знаем, что жизнь забавна, утешна, прекрасна всегда и везде — просто потому, что она жизнь.

Счастливы мы, что живем, что родились, друзья человеки!

Горе отжившим и горе нежившим!

Жизнь может быть хаосом, вздором, жестокостью, но и тогда да будет она благословенна во веки веков!

Такова была бы проповедь Горького, если бы ее не заглушала проповедь его двойника.

1924

notes

Примечания

1

«В людях». Изд. «Парус», Пг., 1918, с. 251, 252.

2

В статье «Две Души», в «Письмах к читателю», в статье о В.И.Семевском Горький говорит о «планетарной культуре», о «планетарной истории», «планетарном смысле труда» и т.д. Теперь это его любимое слово.

3

Автобиографические рассказы — «Красная новь», 1923, Пг., с. 15—16, Мои университеты. Берлин, 1923, с. 21—22.

4

М. Горький. Мои университеты. Изд. «Книга», Берлин, 1923, с. 151.

5

М. Горький. Мои университеты. Изд. «Книга», Берлин, 1923, с. 132.

6

М. Горький. В людях. Изд. «Парус», Пг., 1918, с. 14, 24, 37, 88, 92, 95, 105. 127, 148, 162, 174, 196, 250, 303.

7

«В людях», с. 47.

«В людях». Изд. «Парус», Пг., 1918, с. 266.

Статьи 1906—1916. Изд. «Парус», Пг., 1918, с. 147.

10

Сравни «Детство», с. 312 и «В людях», с. 327.

Как мы увидим ниже, у него теперь намечается новое разделение мира — на деревню и город, причем деревне он приписывает все наши пороки и болезни, те самые, которые приписывал Востоку, а городу — все совершенства. Этой боевой натуре всегда необходим какой-нибудь — хотя бы фантастический — объект для протестов и ненавистей.

12

Писано в 1916 году.

13

«Мои университеты», 1923, с. 176—187.

«Мои университеты», 1923, с. 13.

15

The Development of English Novel, by Wilfur L. Cross. New York, 1902, p. 287.

16

«Детство», глава VIII.

17

Цитирую по брошюре Эрде «М.Горький и интеллигенция». М., 1923.

«Культура и Свобода», сб. 1. П., 1918.

19

Журнал «Беседа». Берлин, 1923, № 1.

20

Сб. «Знания», XI, с. 342.

«Толстовский Ежегодник». М., 1912, с. 140.

22

См. мою «Книгу о современных писателях». СПб., 1913, с. 199-202.